

ПРЕДЧУВСТВИЕ ФОТОАППАРАТА

Лучшая цель пешеходных маршрутов по городу — книга. Вчера по улицам солнечным, пыльным (хотя ночью и гремел дождь), наполненным ароматом цветущих одуванчиков, деревьев, сирени и газующих автомобилей, через духовное училище и Соборную гору в садах и крышах я добрался до букиниста, купил «Испанскую новеллу XX века». По возвращении слушал Дебюсси: «Облака», «Празднства», «Сиринкс» и проявлял впечатления дня в этом растворе звуков: «Поле желтых одуванчиков под мачтами высоковольтных линий», «Цветущая черемуха перед хрущевкой», «Темно-розовая яблоня-китайка у крепостной стены», «Четырехметровый железный забор и видеокамеры резиденции иерархов», «Проповедник, вручающий памятку на улице Румянцева», «Девушка,правляющая ремешок босоножки».

ЗВЕРЬ, ОТКРЫВАЮЩИЙ СВЕТ

На 50 лет дочка подарила фотоаппарат, «мыльницу» Кэнон, и я все забросил, не пишу. Как раз накатил март, много света, небо пьянящее, золото сверкает. И я заворожен этим Тигром с лампами в лапах. Вскакиваю утром, наскоро выпиваю чашку чая, вешаю сумку с фотоаппаратом на плечо, как колчан со стрелами-пикселями, и — в ущелья города, морозного, хрустящего, только еще просыпающегося. И этот Тигр света как будто ударил меня лапой, огrel светильником, так что вижу теперь по-новому. Дома. Людей. Стену. Башни. Собор. Деревья.

Продолжаю фотографировать, не пишу. Фотографирую гранат на подоконнике, выросший из косточки. В утреннем свете его граненые веточки хрупки и почти истаивают, сами превращаясь в свет. У меня на уме «Северный цвет». Гранат растет на юге, в том же Кандагаре. Но вот он на подоконнике в полуночных краях.

Фотографировал книгу и четки на столе. Эти четки Настя привезла из Страны чистых — из Пакистана. А мои афганские четки сгорели вместе с «Опелем» Женьки, я их ему подарил, а он — подвесил перед лобовым стеклом. «Опель» сгорел вместе с гаражом. «Эх, жалко четок!» — сказал я Женьке за утешительной чаркой. Он засмеялся. Эти четки забыл на мраморной стене, укрывающей наш КПП, кто-то из отряда самообороны кишлака Ромак.

Итак, на стол я накинул покрывало, положил толстую книгу, энциклопедию, раскрыл ее, на страницах разместил четки. Свет лился из окна.

* Окончание. Начало в № 50, 2017 г.

Сфотографировал. Когда вывел изображение на экран, испытал чувство освобождения, восхищения. Щелк! — и ты вступаешь с миром в сотрудничество. И мир отзыается. Все просто: книга, четки — и главное — свет, свет, преображающий все. Мир творит, а твое дело — следить. Мир щедр. Но ты еще пытаешься повернуть мир лучшей стороной. Ого!

Нет, просто во всем скрыта красота. Иногда явлена. Но чаще скрыта. И твое дело — проникнуть туда, в средоточие красоты. То есть попасть в некое пересечение лучей, увидеть такой поворот, такой наклон всего — что и позволит говорить о красоте.

Вчера фотографировал собор. Вечерний свет, колокол, врата, решетки, облака, окна. Я не знал такого собора. Нет, иногда он мне таким снился. Фотоаппарат позволяет проникнуть в сон? Карта памяти постоянно переполняется. Образы города хлынули и затопили меня.

Дни чистого солнца. Только в конце марта солнце такое чистое. А вот этого я, например, не знал до фотоаппарата. В воздухе нет пыли.

Спускаясь с Соборной горы, увидел священника, успел сфотографировать его спину, и он свернулся в проулок, и тут же послышался хлопок. Смотрю — из проулка взлетел белый голубь. Забил крыльями над костлявой яблоней. Контраст был упоительный: священник в черной рясе и шапочке, с портфелем — и белейший голубь. Потом я разглядел над заборами голубятню. И только дома увидел, что голубь на одном снимке, священник — на другом. Это у меня в голове они были на одном снимке. Приуныл. А как радовался. Фотография — это тебе, брат, не кино.

Пытался фотографировать Красный Ручей — тщетно, любимая уличка с южной стороны Соборной горы тесная, косматая, неряшливая.

Какая-то детская забава, ей-богу. Во время съемки видишь и чувствуешь одно — энтузиазм, восхищение и т. д., — а как посмотришь на результаты — так и махнешь рукой. Черт, столько времени, сил.

Но солнце и город стали мне еще ближе — и непонятнее. Как в этих сирых убогих переулках жив дух, гениус?

И ночью я вижу магический сон: взлетел, взглянул вверх, там были звезды. Направился ввысь, но вдруг вспомнил, что обычно это быстро завершается крахом — просыпаюсь; и тогда я взял и взмолился, чтобы не проснуться... И попал в некий «соседний» мир. Он ничем не отличался от обычного; но что-то было не так; некий «человек» меня преследовал, чтобы выпытать тайну моего проникновения туда; и, в конце концов, я был вынужден вернуться сюда.

С появлением фотоаппарата установилась новая коммуникация — коммуникация солнца — в эти яркие дни, коммуникация городских образов, снов — да, вдруг сны стали ярче. Но и еще возникла возможность проявить смутные образы, сновидческая природа которых очевидна.

Не буду оригинален, но и сновидческая сущность творчества тоже несомненна. И не только творчества. По-моему, и представления о душе и горнем мире проис текают оттуда же — из этого грота тайн, так сказать. Пишу «по-моему» хотя, наверное, об этом уже кто-то говорил. К пятидесяти годам многое, пройдя обкатку на личном опыте, становится собственностью.

А сейчас с помощью фотоаппарата я пытаюсь присвоить весь мир. «Кэнон» — вещь японская. И дзенская. Ау, Банкей! Может, в этом занятии оказывается его метод не-метода? Не надо медитировать часами, корпеть над книгами, смотреть кино и так далее — достаточно взять небольшую «мыльницу» и выследить Тигра со светильниками. И пережить озарение.

Хм, попробуй-ка, высledи.

Фотографировал церковь Новомучеников, на месте которой мне когда-то снились цветущие сливы и яблони, а в небе — созвездия; тогда это был пустырь; а сейчас — белая церковь с голубыми куполами, очень нарядная. Из 400 кадров, наверное, два более или менее приличные. Меня обуяла архитектурная страсть. Действия, связанные с солнцем,

красками, всегда приводили меня к состоянию, близкому к экстазу. Не могу остановиться, ничего не пишу, не читаю, по ночам просыпаюсь и думаю о фотографии. Стоп, хватит, займись делом, придурок. Нет, фотографирую. Испытываю солнечное упоение.

Обращаюсь за подсказками к другу, он фотографирует с детства. Но не так-то просто заставить других делиться секретами. Их смущает оглашенность неофита. Понимаю, что и сам когда-то стану спокоен. Ну, сфотографировал, и что?

Но пока — искры брызжут. Не знаю, из чьих глаз. Может, из глаз убегающего Тигра.

В живом журнале ко мне сочувственно относится иерусалимский поэт и фотограф Гали-Дана Зингер. Терпеливо объясняет.

Спать не могу, ем в попыхах, хватаясь между первой и второй чашкой чая за фотоаппарат и щелкая гранат на подоконнике, вдруг засветившийся в солнце, чашку, луч, книгу.

Вчера снова фотографировал церковь Новомучеников — без энтузиазма, свет был тусклый, солнце еле пробивалось, а дома увидел, что белая церковь на таком фоне звучит глубже, «мраморно». И пережил несколько кайфовых минут. Мне открылась истина тусклого света.

В фотографировании есть что-то наподобие того, что описывал Хаксли в «Дверях восприятия»: вдруг фиксируешь какие-то моменты, фрагменты, начинаешь пристально всматриваться. Как он под кайфом всматривался в структуру брючины. Фотоаппарат — волшебная штука, керосиновая лампа Аладдина. Мгновенно можно оказаться вровень с куполом церкви, покружить рядом с чайкой и перенестись на крышу соседней девятивэтажки. И никаких ломок и недоразумений с телом и головой.

В фотографии мне нравится то, что это напоминает охоту: ты в дороге, не сидишь, ищешь ответы буквально в пространстве. Нравятся и особые отношения с пространством, с городом, — а я его люблю. Вот и хочется выявить эти чувства — написать их светом.

Светопись! Сразу представляется Калам, пишущая тростинка. В этом есть что-то чудесное, птичье. Ты похищаешь свет, купаешься в нем. Хватаешь изображения, краски. Воруешь у мира. Вор света. И есть надежда, что когда-нибудь станешь другом света.

Но вот, что любопытно, любое новое начинание вызывает какое-то противодействие всего и всех: людей, обстоятельств. Всегда надо преодолевать. И прежде всего — неверие в себе.

Вчера и позавчера в Смоленске проходили мероприятия, связанные с годовщиной гибели польской делегации в Смоленске. И снова, как год назад, разыгралась непогода: ветер, снег. Как будто непримиримый демон города завьюжил своим плащом. Пытался сфотографировать, но так и не удалось поймать кадр.

А сегодня — солнце. Поляки улетели.

Встал спозаранок и успел попасть к крепости на восходе. Травы, сизые от инея. Крепость красноватая, в густом утреннем солнце. Поют петухи по оврагам. Над крышами домов дымы.

На следующее утро проснулся без двадцати пять. Глянул в окно — звезды. Будет солнце. Больше не заснул. Встал снова, напился чаю. За окном еще темно. Очищаю флешку: 862 кадра за два дня. Хорошо, если сохранятся два.

МУЗЫКА ПАРИЖА

В Париже проходит фестиваль органной музыки. Хорошо снова здесь оказаться, в теплой осени с платанами, Сеной, картинами Ван Гога в старом здании вокзала, отлично приспособленном под музей изобразительных искусств, с каменными лабиринтами Латинского квартала, мостами, причудливой горой Монмартра. В первый день сыпал мелкий дождь на черепичные крыши, я заваривал чай в железной походной

кружке, пил, обжигаясь, и глядел в гостиничное окно. Восемь лет — просыпались как этот дождик.

…из Ковша. Вижу его в открытое окно уже поздним вечером. Над городом появляется самолет с пульсирующими огнями. Восемь лет. В России бурлили девяностые. И вот они уже на излете. Россию снова трясет. Дефолт, чеченские хляби, перемешанные с кровью. По телевизору чеченские новости смотришь какими-то чужими глазами. Русский солдат для французов — какой-то дикий ордынец. Вот прapor в зимней шапке, в полушибке, курит. Вот рядовые, чумазые, в замасленных бушлатах.

Если восемь лет назад французы кричали, что любят русских, то теперь, узнавая в тебе пришельца из дремотной Азии, опочившей на московских куполах, чуть ли не плюются.

А что у них?

Все то же. Тяжко летят листы с платанов. На клумбах цветы. Конные полицейские как ожившие скульптуры каких-то давних времен. Впрочем, на вокзалах и обычные полицейские, деловитые, с автоматами. Восемь лет назад автоматчики как-то не попадались здесь. На улицах сразу бросается в глаза обилие черных и шоколадных лиц. Восемь лет назад их точно было меньше.

Цветочные магазины, букинисты возле Сены. И — музыка. Отыскал первую церковь, где дают один из концертов. Все расселились. Церковь называется Сан-Франсуа Хавье, если я ничего не перевираю. Просторно, высокие своды… При первых же звуках этих флейт, гигантских флейт, вознесенных под купола, сам сразу вознесься и чуть не расшибся в лепешку. Плотность звука ошеломляющая, впервые слышу живой орган. Каменные полы гудят, дрожат. Церковь похожа на космический корабль, стартовавший уже куда-то в неведомые дали.

В китайском ресторанчике взял какое-то блюдо, невозможно есть, живой перец, скорее купил пива, наполнил бокал, отхлебнул.

Да, музеи, Лувр, собор Парижской Богоматери, — это ведь заезженная туристская пластинка. А в этот раз мне повезло кочевать по церквям за фестивалем.

Очередной концерт где-то неподалеку от торгового центра Форум-дез-Аль в церкви Saint-Eustache, Святого Евстафия, римского генерала, сожженного с семьей за то, что стал христианином. Исполняли вещи Баха, Вивальди, современные импровизации. Казалось бы — куда там современным органистам с их импровизациями после Баха. Но нет, они погрузили слушателей буквально в огненную стихию. Каменные плиты пола раскаленно дрожали, казалось, стены, своды вибрируют, словно картонные. Снова — ошеломительная плотность звуков, музыка давит на плечи и грудную клетку. Двадцатый век истерии и глобальных катаклизмов раздирал сознание, будто воплотившийся в звуки домашний ангел сюрреализма Макса Эрнста.

На следующий день в этой же церкви был финал фестиваля. Орган играл в сопровождении ансамбля «Оркестр Парижа».

И в какой-то миг почудилось, что средоточие Запада здесь и есть, среди суровых грубых колонн, под величественными сводами и взорами каменных святых. И удар под дых философа Шпенглера — его «Закат» — был просто магическим пассом. Культура, зиждущаяся на таких колоннах, творцах-колоссах, еще прочна и долго продержится. По крайней мере, церковь римского генерала Евстафия была полна восходящих сил и света тоже восхода.

И впечатление это не поколебало дальнейшее небольшое приключение. Запутав после концерта, я оказался вдруг в квартале, где происходил какой-то древний спектакль. Возле открытых дверей домов стояли женщины зрелых лет и помоложе, белые, но все больше черные, стояли, подбоченяясь, выпятив груди, обнажив бедра, с отрешенными, накрашенными лицами, напоминавшими какие-то маски «козлиных представлений», сиречь — трагедий.

Господь слишком зарядил нас. И вот по улицам медленно шли различные господа, туристы, скорее всего, и внимательно смотрели на женщины.

Причем, как-то так вышло, что женщины эти все находились на одной стороне улицы, а зрители-мужики на другой. Некоторые мужчины останавливались и стояли, смотрели. Нужно было перейти дорогу. А вот на это пока никто не отваживался, все лишь приглядывались, как некие экскурсанты к экспонатам в музее.

Одна пышная мадам просто оголила грудь для вящего убеждения, хотя на дворе ведь осень, октябрь, пусть и средиземноморский и атлантический. Ну, странный спектакль. И вдруг один высокий черный в элегантном костюме, с «дипломатом» в руке решительно пошел через дорогу и приблизился к белой женщине, остановился, заговорил.

Накрапывал дождик. Уже сияли фонари. По Сене проплывали корабли. Под серым небом четко вырисовывались чудовища собора Парижской Богоматери. Щебетали француженки, в клетках — на птичьем рынке неподалеку — птицы. На сырой набережной кантовались бродяги.

...Город в тумане, поднимаюсь по булыжной мостовой, вдыхая осенний дым печей, мимо семинарии, дальше, мимо башни, глядя на светлеющие впереди стены монастыря, где на деревьях кричат галки; а к следующей башне сворачиваю и вхожу внутрь. С башни озираюсь. Собор скрыт белесой завесой. Дерево и дом на соседней улице — как будто на краю света. Взлаивают собаки. Город — на краю страны. Здесь все другое, и музыка иная. И в этот миг мне открывается очевидная истина греческого образа этой земли, и тут же вспоминается один из силуэтов кисти Рубleva. Силуэт этот — уже преображеный русским светом греческий образ.

Да, простая истина, но ведь ее нужно было узреть. И узрению этому помогла западная музыка.

Даже давно известный факт — то, что город стоит на Днепре, на древней дороге изваряг в греки, — вдруг сверкнул всеми гранями, тоже омытый этой музыкой.

Дело еще в том, что на дворе осень. А осенью что-то явно прступает отчетливее. Россия осенью стареет сразу на двести лет. Возможно, виной тут Пушкин и возрождение литературы, литературе трудно не смотреть на все сквозь литературные очки — и на осень в первую голову. И литературе кажется, что вообще XIX век был временем наибольшей подлинности в России.

Вот и свечная деревянная лавка возле бревенчатой часовенки среди жутких панельных домов и столбов уже нашей окраины кадит сосновым и еловым дымом из трубы. Свечная эта лавка отапливается железной печкой. Здесь собираются возводить большую церковь. И свечная лавка, а еще колокол часовни о том же и напоминают. Что на дворе осень 1833 года. Оттуда и до Рубleva ближе.

Ну, да впрочем, это уже другая песня.

В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ

Как заговоренный, в четыре утра просыпаюсь. Меня будит демон света, демон фото. Тот Зверь, Открывающий Свет из «Каталога гор и морей». Вставай, подъем! Не спать. Стучит лапой в окно. В другой у него — светильник. Керосиновая лампа. И ведь уже не получится заснуть, так и будешь вертеться. Поэтому лучше не сопротивляться Тигру. Ладно, встаю.

Вчера выглянул в окно. Тумана нет. Лег. И как-то удалось задремать, но в шесть меня пнули в бок, встал, посмотрел в окно: туман! Чуть ли не рыча, подчинился, в попыхах что-то съел, сгреб фотоаппарат, треногу. И ведь удалось сфотографировать Красный ручей в тумане, булыжники, солнце пятном...

Сегодня вышел в пять. Транспорт еще не ходит. Дошагал до церкви Новомучеников. Никакого тумана. Мне солнце нужно или нужен туман? Туман и в нем солнце.

В шесть был на Соборной горе. Нет тумана. А будет ли солнце? Все в какой-то белесой дымке. Теперь я знаю, что такое слепой день. День без фото.

Сфотографировал фонарь на Соборной горе.

Спустился к Днепру. Лыдины идут. На фонарном столбе объявление о том, что парень 180 см роста четвертого апреля прыгнул с моста, спецслужбы его перестали искать, но кто-то обращается ко всем с просьбой помочь отыскать. В каком смысле? Перечитываю. Тот, кто написал объявление, просто убежден, что парень жив. Как это так?

У меня от объявления немного ум за разум заходит.

Ветер на мосту ледяной.

Спускаюсь к руинам старого моста. Сразу подходит пенсионер-сторож с автостоянки, подумавший, что я пришел замерять уровень Днепра. Вчера, говорит, тут шорох стоял! Лыдины перли. Народ высыпал, глазеют. Спросил его, не знает ли о прыгнувшем с моста? Пенсионер посмотрел на мост, на меня. Нет, ничего не знает. «Значит, вранье», — бормочу я. Но пенсионер тут же вспоминает историю про своего знакомого, который взял и прыгнул с моста на спор за бутылку. Летом. Жив остался, но позвоночник сломал.

— Так что, и этот мог остаться в живых?

Он думает, качает головой и все-таки заключает, что вряд ли. Его-то знакомый прыгал на спор за бутылку с Нового моста, а там глубже.

Распрощались. Поднимаясь на мост с таким необъяснимым чувством, что сейчас просто столкнусь с тем парнем или что-то новое о нем узнаю.

Но предчувствия могут и обманывать, и часто так бывает. А, может, и редко, не учитывал.

А с моста вижу далекое апрельское сочно алое солнце, всплывшее прямо из Днепра где-то под Новым мостом. В лихорадке, которая сравнима только с рыбаккой, начинаю фотографировать. Щелк, щелк, щелк. Сколько можно? Но не остановишься. Меняю ракурсы, значения диафрагмы, выдержки. Щелк, щелк, щелк. Здравствуй, вечное солнце. Или не вечное. А ищешь вечного.

Уже два утра фотографирую со стены девушки или женщину, поднимающуюся по длинной лестнице к Георгиевской церкви. Рассматриваю фото в увеличенном виде. На девушке, кроме яркой бирюзовой куртки, красный шарф. Главенствующий цвет Георгиевской церкви — красный. Внизу улочка Красный Ручей. Кто она? Куда ходит? Надо встретить ее сверху, на горе и сфотографировать. Может, это героиня моего рассказа. Если, конечно, я еще вернусь к рассказам и всей этой прозе.

Снова встал в пять: звезда на балконе не дает спать, вестница Солнца.

Друг Вовка, просмотрев кое-какие фотографии, заметил: «Охренеть, еще две недели назад ты не знал, на какие кнопки давить».

И я окончательно решил потратить премию за лучший рассказ на зеркалку, теперь это будет Никон 90. Или все тот же Банкей.

Сегодня немного проспал, очнулся в шесть, глянул на улицу: за городом полоска чистой зари. Подъем! Товарищ солдат-светописарь. Солнце! Запой продолжается. Фотографировал озеро, церковь, столб, круг, окна, горящие на солнце, как свечи, отражения в витринах, по дороге домой купил лилию Нине, сегодня наш день, и дома принял снимать эту лилию в вазе на пне, а рядом пластмассовые бутыли воды. Наконец остановился. Надо передохнуть. Заварил чая. Я подключен к какой-то светоносной жиле мира, в меня течет эта воздушная цветная кровь.

...Но из 360 снимков — ни одного подлинного. Так, информация визуальная. Хочу снять черный обычный телеграфный столб перед церковью и красные блики на куполе. Но свет солнца был недостаточно ярким и

густым. Там нет страсти. Ее выразить можно раскаленно синим небом, ликами зари. Столб черный, церковь белая. Надо еще раз попробовать. Может, вечером.

О беллетристике не хочется и думать.

БЕСПЛАТНО

Покупать загранпаспорта, покупать визы, покупать билеты на поезд или автобус до Москвы, а потом покупать билеты на самолет, дальше оплачивать гостиницу, новые переезды, обеды и завтраки — ни к чему, если в воскресенье ты шел со спутницей по весеннему цветущему городу и вдыхал вечно восточный аромат черемух, да и слушал соловьев, ну, а покупал только зелень, оливковое масло и бутылку краснодарского вина, а форточка ночью была открыта, и ведь это окраина, наискосок остатки деревни, еще домов пять обитаемых, сады, соловьи.

И ночью мы оказались на залитой солнцем земле среди людей в чалмах, в голубых накидках. Я сразу решил, что это Афганистан. Но чуть позже нам стало известно, что мы в Индии. Свершилось! Прилетели. Или приехали. Или перенеслись.

Мимо по дороге сновали автомобили, шоферы были в чалмах и фесках, простоволосые. Попадались прохожие в европейской одежде: французы, англичане — туристы.

Мы свернули с оживленной улицы и направились к сумрачному корявому лесу. Постояли и пошли опушкой, спустились в долину и начали подниматься по склону. Нам повстречалась группа подростков, они смеялись и что-то говорили друг другу. Мы взошли выше. Нина первая увидела и восхликала:

— Как красиво!

Я встал рядом. Внизу текла в красноватых отсветах река, но в том-то и дело, что вода в ней никуда не двигалась. И в то же время это была река, не озеро. Зрелище захватывающее, величественное. На берегу виднелось некое сооружение, какой-то храмовый комплекс в виде стены и гробницы. Мы направились туда и, приблизившись, увидели на стене очертания какой-то царицы. Стена тускло горела золотом.

...Правда, почему-то все это я запомнил один.

— Ты бывала в Индии?

Она смеется, пьет чай.

СКАЗКА ВОСКРЕСЕНСКОГО ЛЕСА

А кино продолжается, правда, не знаю, показывают ли его по нашему телевизору, переставшему работать уже много лет назад: то, как мы живем на Воскресенском роднике с Ниной два дня, слушаем птиц, сидим у костра, говорим над оврагом в черемухах, потом идем к железной дороге, останавливаемся, чтобы послушать иволгу, ее безмятежно-летний переливчатый солнечный голос, а до этого флейтами пели лишь дрозды, но они оказались только подражателями; но еще начало мая, а иволга уже поет, удивительно. Может, такой искусный певчий дрозд? Нет, тут же мы ее и увидели, ярко-желтую иволгу, перелетевшую проселочную дорогу. Увидеть иволгу — к счастью.

На холме пышно цветут кусты сирени, все, что осталось от деревни Арефино. Да еще яблони. Наломал сирени и вручил букет Нине. Выходим на полустанок. Показывается дизель кирпичного цвета. Прощальный поцелуй. С рюкзачком и букетом сирени, в штормовке, благоухающей дымом, моя рыжая зеленоглазая спутница проходит в людный вагон, смотрит в окно. До свидания! Поезд отчаливает.

Я остаюсь в цветущей местности голодных снов.

И мы направляемся в разные стороны, дизель везет ее в город под разговоры попутчиков, я шагаю к Воскресенскому лесу, вдруг встречаю

бурого лося, зверь бесшумно и необычайно легко бежит по полу, и при взгляде на него я переживаю что-то подобное буддийскому просветлению. Да, да, ведь и в медитации сознание должно очищаться от мыслей и чувств, становится каким-то дочеловеческим, может, и лосиным.

Но на той дороге, где мы видели иволгу, чувства нагоняют меня, и от буддийской бесстрастности не остается и намека. И я думаю о жене, представляю, как она с букетом сирени идет уже по привокзальной площади, садится в трамвай, трамвай ползет по Колхозной площади, по мосту над Днепром, вверх мимо собора. И она зарывается лицом в цветы. Везет облако сиреневое из Арефино.

А я пересекаю огромное зеленое поле, и справа высится березовые горбы Воскресенского леса.

Трамвай останавливается на конечной. Нина минует дворы серых домов, входит в общарпанный подъезд, вызывает лифт. Я приближаюсь к стоянке на роднике. Она — дома. И я дома.

Поздно вечером поднимаемся к Воскресенскому лесу смотреть праздничный салют. Ровно в десять на красном фоне заката появляются обесцвеченные снопы салюта. Одиночные ракеты поднимаются иногда высоко, до плоского темно-синего облака и тогда они хорошо видны.

Вспоминаю, как в прошлом году дядя Витя Данилкин вышел на костилях в Барщевщине смотреть салют, в тишине слышны были его реплики: «Слабовато. Невысоко!..» И уже его нет. Время — тоже тихая война.

Но здесь она как будто замедляется. Время загустевает в березах, птичьи голоса его не торопят. Соратником их в противостоянии времени становишься и ты. Никуда не спешишь.

Раскатистый стук дятла. Нашел резонирующий сук и долбит свою брачную песенку.

Поздно вечером выглянула в оконце палатки, затянутое марлей, и увидел снова неспешно бегущего лося — к роднику.

Ночью ударили дождь.

Утром иволга изображала стервозную кошку.

А меня просквозило, разгибаю спину с ругательствами. В лесу спутнула косуль, только и мелькали их «зеркальца».

Ночью — полет от цветущей дикой яблоньки. Но лечу-то спиной — большой! — вперед и вижу свои голые ступни. И где-то приземляюсь. Среди стволов — телевизор. Лев Николаев, ведущий программы «Цивилизация», говорит, что сейчас начнется смотрение тайн. Ого! Устраиваюсь на пне поудобнее. Звучит Гайдн или Моцарт, и действительно показывают что-то интересное, но так и не успеваю разобрать, что к чему, изображение туманится, темнеет, экран как бы затянут черным целлофаном, еще успеваю подумать о «Черном квадрате» (кстати, одна из программ Николаева была посвящена и ему) и просыпаюсь. Развести костер, вскипятить воду для чая.

Утром все пернатые в ударе, тепло ли, холодно — весенний экстаз. У синиц голос зимы. Иволга — лето, прохладная тень лип и кленов в знойный полдень. Крумканье ворона созерцательно-блаженное. Черный философ, мистическая птица. Соловьи бьют серебряные кловики обо что-то прозрачное. Коростель — часовщик, заводит с тупым усердием ржавые часы. Простецы крякают утки. Брачная дробь дятла иногда напоминает падающие медяки в оловянную миску. Бекасиное блеяние вызывает в памяти почему-то «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, первые такты основного мотива. Но, видно, еще дело в том, что вещь ассоциируется с весенней картиной Пьера Боннара, где возле садовой стены с цветущим деревцем стоят двое маленьких козлоногих и рогатых фавнов: рога у них и закручены, как у барабанов.

И возвышенный гимнический смысл всему придают клики журавлей. Эти птицы как будто вечно чем-то ранены. В них какая-то хрупкость, эллинистичность, и даже почти что-то христианское.

Дороги в Воскресенском лесу напрочь завалены. Шлагбаумы берез, дубов, тополей, мощных осин. Правда, по одной кто-то пытается прорваться с пилами и топорами — наверное, к последнему покинутому дому бывшей деревни на западной опушке, за досками и бревнами. Хозяйка, старуха то ли померла, то ли уехала. И вот уже и нет свежих приношений творога и повязанного полотенца под двойной рябиной, явно языческой русальской жертвы. Да и рябина еще в прошлом году разломилась до корней, так что один ствол ее рухнул. Как будто старухин отъезд ознаменовался этим обрушением.

В лесу сейчас много желтого цвета, череды. Белеют и ландыши на дубовых опушках. Вот доверчивый цветок. Благоухание слышно на расстоянии.

Из леса выходишь, и сразу глаза расширяются до горизонта, синеватых массивов земли, деревьев.

Вечером начинают бормотать тетерева. Как будто толстяки поласкают рты.

И вдруг слышишь у соловья первые такты Штрауса из «Сказок Венского леса». Да, где-то читал, что маэстро специально так сделал, подслушал такты у соловья. И вот слушаю в палатке воскресенского соловья или гастролера.

И ночью мне снится Германия. Побережье Балтики. Прогулка по какому-то городу, посещение центра искусств, где я разглядываю картины, скульптуры, костюмы. Вхожу в павильон «Сосны». Распорядитель щелкнул выключателем, посыпался снег. «Будете смотреть гербарий?» Девушка с папками, раскрывает их на коленях. Я смотрю совсем не на высущенные растения. Она перехватывает мой взгляд. «Ах, вам, наверное, не интересно». Уходит. Распорядитель просит меня поторапливаться. Поторапливаюсь.

Оказываюсь на сельской дороге. Крутые холмы или предгорья, домик. Думаю, что наконец-то вижу страну этих людей, музыкантов и рыцарей — которые не раз к нам вламывались с огнем и мечом.

...Утреннее солнце просвечивает палатку. В овраге распеваются соловьи. Где-то ближе к Воскресенскому лесу каркает философически ворон. Наш Иммануил Кант.

ГОЛЛАНДИЯ

Снилась Голландия. В одном месте там было фантастическое скопление храмов: православный с крестами, мечеть с полумесяцем, индийская ступа, китайская пагода.

Вчера перечитывал «Жизнь Ван Гога». Книга эта меня чрезвычайно вдохновляет. Особенно, когда деньги кончатся, как сейчас. И встает призрак Голландии.

МАРШРУТОМ СНА

В марте за день до равноденствия вечером надел куртку, кепку, ботинки, только взялся за ручку — раздался звонок. Открываю. Дочка вернулась из школы, сияющая, тут же вынимает из портфеля слепленную на уроке труда фигуру из черного пластилина. Смотрю — черт. Хвост, рога, все на месте. Дочка глядит на меня, мол, ну, как, понравилось? Да, здорово получилось... И мне сразу на ум пришел тот чиновник из бюро экскурсий в сером костюмчике в полоску, предупредительно вежливый, русоволосый, сероглазый, смахивающий слегка на Смоктуновского... Хотя, не уверен, есть ли что-то демоническое в Смоктуновском? Не играл ли он, например, Свидригайлова? Что-то не могу вспомнить. А в том чиновнике из бюро явно чувствовалось демоническое... Ну, по крайней мере, потом я это уже понял вполне, когда отправился на экскурсию вместе с тремя другими гостями города. Но я-то не гость? Дело

происходило в Смоленске.

В общем, это был сон, довольно яркий и подробный. Перед сном я читал «Откровение Иоанна Богослова». И вот на следующий день у меня появилась эта мысль отправиться на экскурсию в сон. Ну попытаться туда попасть. По маршруту сна я точно могу пройти. По тем же улицам. Я ведь все запомнил.

Началось все с трамвая, он стоял на конечной у нас неподалеку с открытыми дверями и все не трогался. Оставил сумку с гостинцами для матери, я вышел посмотреть, в чем дело, что там сломалось? Почему не едем? И тут-то трамвай и покатил, да так резво. С моей сумкой. Я побежал. Увидел такси. Махнул. Не остановился. Гнался дальше, а трамвай скрылся за поворотом. Тогда я решил перехватить его на улице Исаковского. Для этого надо было пересечь овраг, называется он Чертовым. Овраг я перешел и где-то там среди частных домов и запутал, наконец, вошел в какую-то дверь и попал в освещенное помещение.

Обстановка казенная: черные жесткие диваны, стулья, столы, телефоны, какие-то портреты, чернильница на столе, сейфы. Что-то вроде сельсовета или комиссариата. Все довольно потертое, замасленное, нечистое, воздух неприятный. На диване три посетителя. Чего-то ждут. Вдруг появляется человек с бородкой, лысиной, хрящеватым носом, всклокоченными волосами вокруг лысины, смотрит на меня пронзительно и приятно улыбается. Я спрашиваю, как мне попасть на улицу Дзержинского, хотя надо мне узнавать про улицу Исаковского. Ошибка сна. Этот распорядитель отвечает, что мне необходимо подождать и исчезает. Я присаживаюсь, беру какой-то журнальчик полистать. Комиксы о похождениях чертей. Ярко и весело. Воздух все-таки тяжелый в помещении и как-то накурено, что ли. Озираю посетителей, нет, никто не курит, сидят и тоже листают журналы.

Снова приходит тот распорядитель. Очень любезен. Но я понимаю, что доверяться ему ни в коем случае нельзя. Надо просто уйти, и все. Но не ухожу, как-то уютно здесь... Хм, среди этих-то диванов-стульев? Или просто любопытство разбирает?

И он спрашивает:

— Вам нужна улица Дзержинского?

— Да.

— А вы подумайте, — говорит он, — так ли вам она нужна?

Я что-то бормочу про трамвай, гостицы... Он отмахивается и сообщает, что здесь экскурсионное бюро, и я могу совершить интересную экскурсию. Я отвечаю, что у меня нет денег. Он замечает, что ничего страшного, потом можно будет расплатиться. Когда потом? Когда появятся деньги. Соглашайтесь, мы согласились, говорят посетители. Я раздумываю.

В это время появляется еще один работник бюро и подает первому папку. Распорядитель достает бумажные полоски с отпечатанными на машинке словами — всего несколько слов. Один за другим посетители берут эти полоски и читают вслух. Слышу слова, но понять не могу. Распорядитель с легким полупоклоном приглашает их пройти к двери. У двери все останавливаются, оборачиваются и смотрят на меня. Распорядитель держит за кончик бумажную полоску. Я беру ее, читаю. Ничего не понять. На каком языке? Но вдруг я прочитываю это вслух. Распорядитель смеется. И восклицает с широким жестом:

— Милости просим в наш город!

Дверь распахивается. И начинается самая странная экскурсия в моей жизни.

Сомнений нет: мы в Смоленске. По улицам шмыгают серые и отчужденные люди. Видны очереди.

Правда, на площади Смирнова хрустальный бассейн, фонтаны и посреди улицы золотая колонна. И еще удивительно, что крыши домов смахивают все-таки на китайские многоярусные.

И вот прямо здесь, на площади Смирнова начинается выпускной бал.

Девочки в белых гольфах, с белыми бантиками, юноши в костюмчиках, все танцуют. Затем им приказывают построиться. Стой уводят за железные ворота. И нам сразу предлагаю посмотреть краем глаза на другой бал. Мы проходим в здание, топчемся в прихожей, официанты проносят толстые длинные шоколадные плиты и стеклянные кувшины с красным вином. Сейчас пиршество начнется, надо подождать господ, сообщают нам. Но через некоторое время один из туристов начинает протестовать и просит, чтобы нас вывели отсюда. Идет перепалка. Ничего нельзя понять, в чем дело? Сопровождающие все-таки уступают, боясь скандала, и выводят нас на улицу. В чем дело? И тут же двое бросятся прочь.

Оказывается, есть подозрение, что в кувшинах совсем не вино, а кровь. И это связано с теми выпускниками, которых увезли за ворота.

Но за двоими гонится служитель. Мы смотрим вслед. Они убегают по улице Крупской. Все скрываются. Но каким-то образом я продолжаю видеть их. Они бегут по улицам, стараясь найти ту, по которой мы сюда вошли. И — вот она! Они мчатся дальше и добегают до двери той приемной. Но дверь так устроена, что только впускает и никого не выпускает. Да рядом еще одна дверь. И они открывают ее, бегут по коридору и вдруг оказываются перед обычной дверью с номерком, кнопкой звонка. Навалившись, они выламывают дверь. Просторная квартира, на стенах картины. Подбегают к окну. Десятый этаж. Распахивают окно. Городская обычная улица, это Заднепровье, Покровская гора. Люди идут с авоськами, машины, трамваи. Но этот город спасителен. В обычный город и надо попасть. А как?

И в квартиру врывается дебелый служитель. Один из беглецов кричит, прыгает на подоконник, повисает на руках — он уже в другом, обычном мире, можно сказать — на улице Фрунзе, да, это она. Но разжать пальцы нет сил. Служитель сбивает с ног одного беглеца, хватается за запястья второго и мощным рывком выдергивает его из-за окна, беглец кричит, слышен хруст — у него переломаны руки. Тут прибегают еще служители, избивая, уволакивают беглецов, те кричат, и все, что с ними происходит дальше, неизвестно.

Я озираюсь по сторонам и думаю, как же отсюда выбраться? Похоже, что путь один — через ту квартиру на десятом этаже. Чья это квартира? На стенах картины?

За нами вроде бы никто не наблюдает. И на улице я встречаю луноликого раскосого человека в испачканных краской джинсах. В отличие от людей первой категории — пугливых и молчаливых (а еще в городе решительные служители и неведомые господа) — этот человек останавливается и с улыбкой отвечает мне. Выясняется, что он помощник живописца, немного и сам пишет красками. Нравятся ли ему импрессионисты? Нет, он не видел их работ, он учится у японцев и старых китайских мастеров.

Он извиняется, ему надо спешить, но мы можем встретиться еще и поговорить, если я приду на Чайную улицу, где он торгует чаем.

Мы распрощались.

«Скоро выберемся», — говорю второму туристу. И все рассказываю. Но он отказывается. Его совершенно лишили воли все эти события. Я убеждаю, что бояться не надо, мы будем осторожны. Нет, он не хочет ничего предпринимать. И я решаю действовать в одиночку.

Ищу Чайную улицу. Вижу лавку с выставленными на витрине пачками чая, фарфоровыми чашками, чайниками, конфетами. Мой знакомец разливает чай. Очередь не такая уж длинная. Здороваюсь. Он кивает мне и с улыбкой наливает в тонкую пиалушку чаю, прозрачного, горячего, золотистого.

И очередь ропщет. Выходит один из хмурых горожан первой категории, сивый, синеглазый, пенсионного возраста, и решительно направляя-

ется ко мне. И вдруг кричит. Это ошеломительно. Они ведь все тихони, шмыгают мышками серыми. Но этот кричит. Он возмущен и не позволит!

Я отвечаю, что встану в очередь, не надо кипятиться. Но он не успокаивается и хватает меня за грудки.

— Ты что, а?! А?! — орет яростно.

И я понимаю, что все пропало, сейчас прибегут служители, начнется допрос. Последнее, что я замечаю — растерянное лицо помощника живописца.

То есть мне не удался мой план? Что было дальше? Не знаю, очнулся.

Отдаю черта подошедшей Нине, она его разглядывает. Дочка весело раздевается, рассказывая об уроках. Я слушаю, топчуясь. На самом деле тяну время, раздумываю, пускаться ли по маршруту сна? Тем более, что на улице мартовская грязь, промозглый вечер, того и гляди дождь пойдет.

И все-таки вышел на улицу, жалко упустить такой сюжет.

Двор с железными детскими горками и турниками, похожими на какие-то пыточные конструкции, тонул в тумане. Моросил дождь, холодный и противный. Погода в духе «Голема» Густава Мейринка.

Что ж... Проследил за бегущей через двор собачонкой и пошел к остановке. От остановки направился вдоль трамвайных путей.

Приключение начинается.

Ядовито светились противотуманные фары машин, лязгал трамвай. Советский трамвай похож на гроб. В домах горели окна. Граждане едели свои скучные советские ужины, намазывали тонко масло, резали тонко колбасу, купленную по талонам, клали в чай талонный сахар. Смотрели телевизор. Что там в Таджикистане? В Оше? Привычная картишка: погром, грабеж, стрельба, солдаты, растерзанные трупы, кровь на стене, кровь на асфальте.

«Небольшие отряды молодежи врывались в квартиры горожан. Грабежи и погромы продолжались всю ночь».

Что-то библейское есть в этом названии. Ош. Вздох и шелест. Шелест пепла. Пепла домов и людей. Детского пепла.

Трагедия длилась десятки дней, сотни убитых.

Так это... где-то далеко, где-то в Азии... Да и под носом проблем много. Вот объединение Германий, например. Или XXVIII съезд партии.

Аналитики пытаются понять причины, но даже сейчас, спустя полгода, так и не пришли к единому мнению. Национальные противоречия? Просчеты местной власти? Социально-экономические условия? Семидесятилетнее царство кривых идей? Но идеи-то и хороши на первый взгляд.

Несвобода, бесправие.

Как будто на резню неспособны сытые и свободные. Взять тех же американских парней в джунглях Вьетнама.

Совсем недавно закончилась быстрая американо-иракская война за Кувейт. Там вначале единоверцы резали единоверцев — за нефть, конечно. Потом подключились американцы.

Лучший аргумент узконосых обезьян в конце двадцатого века — все тот же: ракета, бомба, автомат.

Шагал дальше и думал о недавнем разговоре с директором крупнейшего советского издательства, он пригласил меня, я поехал. В кабинете он закурил, предложил мне. Я все никак не брошу окончательно. Но в общем, не курю. Тут закурил. Секретарша принесла кофе, конфеты. У директора кавказская внешность. Блестящий рассказчик, остроумный. Англоман. Предложил мне заключить контракт на десять лет. В чем смысл? Все, что напишу, будет принадлежать ему, т. е. издательству. Каждый месяц буду получать какую-то гарантированную сумму — на жизнь. «Что вы там в Смоленске? — спрашивал он, пуская дым, сверкая выпуклыми голубыми глазами. — Ну, например, водопроводчик не побежит мигом, если что. А с известностью и водопроводчики там, ну, и

прочие деятели, домоуправы и завы всяких отделов начнут по-другому относиться к вашей персоне». Предложение вроде бы лестное. Но тормозит меня одно: придется якшаться с газетчиками, выступать. «Поездим по стране», — говорит директор.

Не спешу отвечать. На днях из Германии прислали мою первую книжку. Это аргумент против контракта.

Под ногами хлюпает и хрустит. Март. Серо-черные прохожие, бледные лица, черные стволы деревьев, фонари. Возле «Промышленных творов» толпа. Наверное, прошел слух, что привезут что-то. Расхватывают все, ибо ничего нет. Прилавки пусты. Второго апреля обещают повышение цен. Улавливаю обрывки разговоров о талонах на табак, на маргарин, кто-то совершил обмен одних талонов на другие. Мужик делится с другим воспоминаниями о прошедшей пятнице: «Дорогой «Тархун»-то, двадцать два рэ! Собаки! Нет совести! Совсем ох....! Но мы вывернулись, скинулись. И вмазали! Второй хрипло голодно смеется, слатывает.

Прохожу мимо овощного магазина, где сегодня я покупал копченую рыбу — выкинули! Стоял в очереди, в ящике оставалось рыбин двадцать, половину сразу забрала женщина в зеленой беретке перед моим, так сказать, носом. И две подруги позади меня заскутили: «Ах, брали бы все по две, по одной рыбке, всем хватило бы, по справедливости бы надо». Ну, я и взял одну. По справедливости. И, отходя, услышал жадное: «А это мы все забираем!»

Трамвай из сна повернулся по улице 25 Сентября, а я должен пойти через Чертов овраг. Так и сделал. Частные дома. Собаки. Мокрые деревья. Обыкновенные двери. Возле одного дома стоит задумчивый мужик в свитере, меховой безрукавке, зимней шапке-ушанке, курит.

Мост. На этом мосту жену брата встретили двое юношей, заставили отдать золотые сережки, кольцо. Хотя с одним она все же вступила в борьбу, они упали, но он был сильнее, все вырвал и убежал. Милиция в тот же вечер их задержала. Будет суд. Сейчас идет следствие.

В пятиэтажном доме из темного красного кирпича над оврагом жил после освобождения Смоленска Твардовский, а потом поселил туда родных из сожженного Загорья, он писал, что по ночам в овраге волки воют, — так вот где-то там, в районе этого дома-музея и было экскурсионное бюро? Может, в самом доме? Нет, дом из сна был, по-моему, одноэтажный, деревянный, вполне обычный.

Тут я замешкался. Куда же идти? Где вход в тот, другой Смоленск?

Никаких знаков. Все уныло и обычно, как в марте всегда.

Ну, пойду на площадь Смирнова.

В разные стороны разъезжаются автобусы, трамваи, автомобили. Сияют фонари. Светятся витрины. Прохожие. Никто не подозревает, что очень похож на персонажей первой категории из моего сна. И где-то заседают представители третьей высшей категории. И шныряют служители. А помощник живописца? Кстати, такой улицы — Чайной — в Смоленске нет и в помине. Как нет и бассейна на площади, и столпа. Но в былые времена столп все же был именно здесь, столп Меркурия, воина, вышедшего победителем в схватке с отрядом Батыя в тридцати верстах от Смоленска и вернувшегося в город на коне, но без головы, снесли ему голову монголы в сражении. Куда и когда исчез сей столп, доподлинно никому не известно. В соборе хранятся сандалии Меркурия, больше похожие на железные лапти, носить которые, конечно, вряд ли можно. Но Меркурий был необычным воином, он услыхал зов из собора, это был призыв Богородицы идти и победить, что он и совершил.

А железные ворота, куда ушли «выпускники»? Я озирался среди огней, но ничего похожего не находил. Конечно, там был какой-то квазихристианский обряд, евхаристия какая-то тоталитаризма, можно ведь и так это растолковать. Не знаю.

А убегали те двое — вот по этой улице Крупской. А потом они оказались уже за Днепром, на Покровке.

Нет, дурацкая затея. Маршрутом сна следовать невозможно. Хотя и эти улицы, наполненные мартовским туманом и сиянием фар и фонарей, эти угрюмые дома, хрущевки, старая больница, дом княгини Тенишевой, — тоже могут сойти за чью-то сновидческую реальность. У индусов есть такая байка о том, что все это кому-то просто снится, такой грандиозный сон-спектакль божества. Да, вот майя — что это такое? Иллюзия.

...И этот малый в куртке и кепке и мокрых башмаках топчется на площади какого-то города, озирается. Какой ему еще сон нужен?

ЗВЕРЬ-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Карапуз гнал на велосипеде, крутил педали, сопел, что-то бормотал сам себе. Решил над ним подшутить, снизился и тронул его. Он тут же задрал голову и спросил безо всякого удивления:

— Ты что за зверь?

— Путешественник, — ответил я и полетел дальше.

Внизу потянулись густые леса, блеснули заливы, замерцали в тусклом солнце мачты высоковольтных линий, — но я-то уже поднялся очень высоко, боясься проводов нечего было. Показались огоньки Северодвинска. А затем я увидел огни Архангельска.

АЛТАЙСКИЙ КРУГ

Что такое Чодро?

Четыре домика, сараи, подсобки, баня. Все это огорожено и зажато огромными скалами. Из окна нашего старого дома с гнилыми полами, железной койкой и растрескавшейся печкой виден водопад Юл. А прямо у крыльца течет ручей, в нем мы умываемся, из него берем воду, вода очень чистая.

Конечно, при таком жарком климате растительность здесь побогаче, чем на Байкале. У самых скал растет крыжовник, по берегам рек смородина красная и черная, на полянах дикая клубника. Есть облепиха, в тридцати км. свешиваются черные гроздья черемухи.

Река Чульшман широкая, 15 — 20 метров, с перекатами, холодной и чистой водой. Горы здесь выше и круче, чем на Байкале. В окрестностях много полян с высокой травой и серыми валунами.

Переехали с одного озера на другое — с Байкала на Телецкое. Большой кусок Азии пересекли. Но на самом озере центральная усадьба заповедника, а мы в глубине заповедной территории, на кордоне.

Обживаемся.

Соседка дала Нине две железные формы и закваску, муку и подсолнечное масло мы купили еще в Яйлю, дожидаясь вертолета. Протопили печь, Нина в формы положила тесто. А я до этого сходил к водопаду и набрал смородины, сварили быстрое варенье. И вот пьем чай, макая горячие душистые ломти пшеничного хлеба в красное кисловатое варенье.

Говорят, здесь раньше жили китайцы и выращивали виноград с арбузами.

А в двух или трех километрах ниже по течению Чульшмана есть развалины первой церкви на Алтае.

Граница с Монголией поблизости.

Рано утром вышел умываться в ручье и увидел толстого темного полоза, пившего, по-моему, из ручья. Полозы живут под полом. А вообще здесь есть ядовитые змеи, щитомордник, гадюка. В Давше не было, там же зона вечной мерзлоты. Все время сравниваем Чодро с Давшой и Северным кордоном. Пуститься в путь сюда нам посоветовал лесник с бородой-лопатой по фамилии Оробцев, он жил на Южном кордоне Баргузинского заповедника.

На кордоне сумрачный одинокий лесничий, его младший брат, все напевающий «В Вологде, в Вологде-где...», лесотехник Таня, темноволосая, глазастая, молодая; еще семья помощника лесничего смуглого, черноглазого с заячьими зубами. Еще приехали трое студентов проходить практику из Новосибирска и Казахстана: светлый высокий голубоглазый Борис и парочка: казах Женька и Рита. Они знакомы все с Таней. И Борис, похоже, влюблен в нее. Но тут младший брат лесничего перешел ему дорогу. Это все рассказывает Нине жена помощника лесничего, которая нянчится с двумя малыми детьми. Лесничий мрачно улыбается Борису.

Начинаем ремонт дома. Пока выкашиваю бурьян в огороде, поправляю забор. Нина ходит ворошить сено, накошенное на конной сенокосилке младшим братом лесничего. Он все ездит на этой сенокосилке и горланит: «В Вологде-где!»

Слушаем транзистор, Улан-Батор, Горно-Алтайск, Пекин. Ну, на самом деле монголов и китайцев не слушаем. Они сами лезут.

Прибыло пополнение, рабочие лесного отдела Коля и Вано. Длинный Коля в очках — инженер-строитель, решивший изменить жизнь. Вано наполовину грузин, маленький, шустрый, веселый. Они как Дон-Кихот и Санчо. Готовимся к Большой косьбе.

Через кордон проезжали верхом двое с высокогорного кордона. Буддисты. У них там целая община. Собираются отовсюду, в основном из городов, из Киева, Ленинграда, Москвы. Как сказал нам еще в Яйлю один из них — рыжеволосый и рыжебородый: «Настанет день, и мы все уйдем в Лхасу». Как это? «А так, достигнем такой степени, что пограничники на границе примут нас за камни». И это он на полном серьезе. Врач из Киева. Узнав, что Нина учительница химии, начал зазывать нас к себе. Они не хотят отдавать детей на обучение в школу, сами учат, кто чему может.

Буддисты неподалеку от нашего дома развели костер, варили себе похлебку. Уже поздно вечером я подошел к ним, одного звали Петром, длинные черные волосы, борода, старая фетровая шляпа. Пригласили меня отведать кушанья, я отказался. Так, присел к костру. Спросили меня, что я и зачем тут. Ответил. Петр бросил на меня взгляд и сказал: «Ищи, может, у тебя и получится».

Лесничий с братом выехали на лошадях и к вечеру вернулись с маральим мясом в переметных сумках. Быстро навялили нам мяса на костьбу. И наш табор выступил на покосы. Перебрели реку, прошли по тайге, миновали заброшенную пограничную заставу, вышли к бурной речке, которая впадает в Чульшман. Переправлялись в резиновой лодке на веерке. На высоком ровном берегу этой речки и разбили лагерь. Нина повариха. Все остальные косцы. Маралье мясо очень вкусное в супе, каше. Помощник лесничего спит в отдельной палатке. Остальные в большой общей. Мы с Ниной в своей, купленной по дороге сюда в Турочаке. Очень жарко. Косьба трудная. Трава редкая, сухая. Шмыгают змейки порой. Мне на голову села птица. Но хотя бы нет мошкыры и комаров. Нет поблизости стоячих вод. Косьба на Байкале — сущий ад. Мошкара одолевает. Но трава там гуще.

У помощника лесничего пистолет.

Приехал лесничий и забрал брата. Говорит, ему необходимо быть на кордоне, с Таней, пока там эти студенты. Все отнеслись с пониманием.

На том берегу блеянье, шум. Приковчевало стадо. Пастухи тувинцы.

Заканчиваем косьбу. Снова приезжает лесничий. С бурдюками браги. В честь окончания сенокоса будет пир. Нина готовит мясо. И вече-

ром все усаживаются. Лесничий лишь одну кружку осушил и уехал. А остальные продолжают. Веселье разгорается. Вано плачет. Строитель Коля все зыркает на Нину. Смех, шутки. Затемно мы уходим в свою палатку, укладываемся. А там все продолжается.

Вдруг мы просыпаемся от воплей, беготни. Строитель Коля с рычанием пробегает мимо нашей палатки, а остальные его ловят. Топот. Земля гудит. Наконец, Колю скрутили. Мат утихает. Все.

Ночью по костру, когда все утихомирились, выстрелили с того берега. Пулю утром нашли в золе. «Это пастухи-тувинцы», — сказал помощник лесничего. Но, когда мы переправляемся на тот берег, там уже никого нет. Откочевали. У строителя вид виноватый. Все помятые. У Вано под глазом фингал. Он грустно улыбается.

На Байкале весной я не смог улететь в Нижнеангарск, в военкомат, когда шел призыв. Погода была нелетной, а ледовая дорога уже стала опасной. Так и получил отсрочку до осени. Сейчас август. Мы на Алтае. Но и здесь призывают в армию. Хотя лесничий и говорит с сумрачной улыбкой, что, может, и лучше отсидеть, чем служить. Не удивлюсь, если он все-таки сидел. Я-то не собираюсь, пойду служить. А Коля шутит: «Да-да, мы тебя проводим в армию! И будем оберегать твою жену, как истинные евнухи, ага, Вано?» В трезвом виде Коля вполне интеллигентен. Вано лыбится. Куда его Коля, туда и он. Неразлучные. На большой земле у Коли семья. Сюда он прибыл на разведку. Обустроится и всех перевезет.

В конце августа собирается отряд в сторону цивилизации: студенты, сынишка лесничего.

И мы решаем к ним присоединиться. Возвращаемся на запад.

Утром вышли. Нас сопровождает Таня с лошадью. На лошади студенческие пожитки. Свой рюкзак я несу сам. Нам не предложили погрузить его на лошадь. Переправились через Чулышман и пошли вверх. Тропа петляет среди сосен и лиственниц. На перевале деревья и кусты в тряпочках, как какие-то новогодние елки. Алтайцы делают приношения духам. Мы посмеиваемся. Никто ничего не оставляет. Никто не собирается возвращаться, кроме Тани. Студенты к ней не приедут, они обижены за ее выбор. Выбор пал на младшего дайнноволосого смазливого брата лесничего. Это уже всем известно. Крупные глаза будущего металлурга Бориса — он учится во ВТУЗе на пятом курсе — грустны. Но и его дружок казах Женька хороший, ехидно напевает: «А я стою, чего-то жду, / А музыка играет и играет. / Безумно я люблю девчонку ту, / Которая меня не замечает. // Остановите музыку, остановите музыку...»

Таня спокойна. Иногда она едет верхом, иногда усаживает сына лесничего. Но скоро я начинаю отставать со своим рюкзаком. Мы с Ниной все чаще отдыхаем одни. Сидим на корнях, слушаем птиц. Наконец, кто-то предложил рюкзак погрузить на лошадь. Так и поступаем. Теперь идем вместе.

Вдруг вышли из тайги. Перед нами — простор, степь, за ними горные вершины в снегу. «Уже снег!» — воскликнула студентка. Мы все смотрим туда. Да, белейшие вершины. Такое впечатление, что мы где-то на крыше мира.

По степи идти легче. Дорога набита стадами. Вскоре и видим стадо лошадей. Заметив нас, пастухи не подъезжают, лишь гарцают, что-то кричат. Мы идем дальше и слышим позади выстрелы. Диковатые ребята. Или у них так принято. Интересно, как Таня будет одна возвращаться?

На ночь подъезжаем к стоянке пастухов. Деревянный обширный дом без окон. Костер разводим прямо внутри на куске железа. Печь разбита.

Мы с Ниной расстилаем палатку, раскатываем спальники. Едим хлеб, пьем чай. У нас больше ничего нет. Остальные побогаче, но почему-то не делятся. Да и ладно.

Днем остановились у ручья. Мальчишка кочевряжится, не хочет есть то, что предлагают. И вообще выламывается. Огрызается на Бориса. Тот дает ему подзатыльник. И мальчишка на него кидается, потом пытается убежать. Мы его хватаем. Борис орет на него, замахивается. «Что? что? да? Да? Получил? Выкуси!» — орет сынишка лесничего. Таня пытается его уговорить. Борису-то наплевать, а ей возвращаться и жить с младшим братом лесничего. Похоже, будь воля Бориса, он бы всыпал хорошенко мальчишке. Словно перед ним сам лесничий. Ведь это он все устроил.

А мальчишка очень крепкий. Мы его с трудом удерживали.

И тут на дороге — той, по которой стада гоняют, — показался всадник. Свернул и неспешно подъехал к нам. Алтаец. Лет сорока. В лесной одежде. У седла карабин. Мы все с ним поздоровались. Он не ответил. Молча сидит и разглядывает нас внимательно. Всех. Студентов, Таню, Нину, меня, мальчишку. Нашего коня. Мы уже ничего не говорили. И он все молчал. Посмотрел, повернулся и поехал прочь.

«Такие у них привычки», — сказала Таня.

Видно, что ей нравится все, по душе такая жизнь. Она любит ездить верхом. Щеки румянятся, карие глаза блестят. Фигура красивая.

Отряд наш прошел степью, временами входя и в тайгу, и достиг поселка Улагана. Остановились у местного лесничего, Таня его знает. Жена лесничего крайне недовольна нахлебниками. У нас с Ниной денег нет. Постимся. Чтобы не торчать в доме лесничего, идем по поселку. Крупный поселок. Всюду собаки, куры, лошади. Трещат мотоциклы. Русских мало. Все алтайцы. «Давай продадим часы», — сказала Нина. «Часы?». Она снимает свои позолоченные часы. Ходят отлично. И мы предлагаем первому встречному алтайцу часы. Тот крутит головой. Нет. Подходим к дому, там за оградой женщина, алтайка. «Купите часы». Отвечает по-алтайски. А ведь наверняка понимает по-русски. Какой-то русский парень. Предлагаем ему. Разглядывает, спрашивает цену. Нет, дорого. Но и нам нужны деньги, позарез! Эх, эх.

Начинается дождь. Улицы сразу тонут в грязи. Выходим к речке Башкаус: несутся мутные воды уже бровень с берегами. А где-то поблизости Пазырыкские курганы. Правда, золота там не нашли, а только древний персидский ковер. Я в сапогах. Нина в тапочках. Переношу ее на руках через лужи. Грязные возвращаемся в дом лесничего с медвежьей шкурой. Здесь хотя бы тепло, пусть и все настроены недружелюбно.

Но тут случилось чудо.

Да, бывают чудеса.

Лесничий купил часы за сорок рублей! Мы — шейхи!

И все изменилось. Студенты предлагают нам конфеты, участливо расспрашивают. Жена лесничего тоже смотрит мягче. После дождя я бегу в магазин, а он уже закрылся. Но жена лесничего зовет нас к чаю.

На следующий день уезжаем на попутном грузовике на Чуйский тракт, в Кош-Агач.

Всего-то и надо — четыре червонца, и ты — человек. На тебя смотрят с улыбками. Уважают.

Долгая езда по трясучей дороге. Снова видели горы в снегу. Наконец, прибыли в Кош-Агач. Нам он показался огромным городом. Поселились в гостинице! Горы подступают прямо к домам. Накупили всякой еды,

консервы, хлеб, печенье, даже зефир. Сыр. Студенты чуть ли не расцеловываются с нами, зовут к общему столу. «Остановите музыку, остановите музыку, чу-ча-ча-ча! Прошу вас я, прошу вас я...»

Без сожаления прощаемся с этими попутчиками. Катитесь трактом! Это уже в другом поселке на Чуйском тракте, в Акташе мы гуляли с Ниной, дожидаясь своего рейса на автобусе и стали свидетелями ругани алкаша со своей подругой. «Дуй по тракту!» — крикнул он ей.

Ночевка в Акташе. Автобус довез нас до Горно-Алтайска. Горы и пропасти. Внизу блестела Катунь. В Горно-Алтайске снова в гостиницу. Дожди. И я ношу Нину на руках. Купили ей обувь. Поехали в Бийск. Оттуда дальше. Река Бия.

Отсюда родом Шукшин Василий Макарович. Так что я приобщился.

Приехали в Артыбаш. Спим прямо на берегу Бии, в деревянной беседке турбазы. Круг завершили. Вместо 200 км сделали примерно 700. Туда — на вертолете, оттуда на перекладных.

До центральной усадьбы заповедника — Яйлю — осталось сорок минут плавания на теплоходе по Телецкому озеру.

Такое впечатление, будто это мы, а не те ребята с высокогорного кордона, побывали в Лхасе. Снега на вершинах там, видимо, точно такие же. И на дорогах косматые яки.

Получили расчет. Но путь далекий. И тут увидели на улочке Яйлю знакомое раскосое лицо байкальского рабочего Валеры Сонникова. Улыбки, объятия, расспросы. Он тоже подался из Давши сюда. Пока ему нравится. Хотя, наверное, и здесь он не останется. В этом месте в узких калмыцких глазах Валера засквозила какая-то тоска. Но зиму он хочет здесь пересидеть. «Да я вам дам денег», — сказал он. «Мы пришлем», — ответили мы хором. Он махнул рукой. «Да если и не пришлете... Я привык».

Хмельной местный бугор попытался задираться и учинить драку со мной, но Валера сказал: «Это же мои байкальские ребята...» Бугор вмиг подобрел. «А, ну так бы сразу и сказал».

Но лицо он нашел кому расквасить, одному уволившемуся научному сотруднику. Тот пришел в бревенчатую нашу гостиницу с разбитым носом, ругался, грозил, что подпалит весь мир здесь, а этого бугра утопит в Телецком озере. Был он нетрезв.

И на следующий день мы разомкнули этот круг.

(Чтобы попасть в другой, хочу я заметить из своего круга последнего времени. А вот удалось ли это сделать тем буддистам с высокогорного кордона, неизвестно.)

ПЛАНЕТА МОЦАРТА

Никаких фантастических фильмов не смотрел накануне. Только документальный фильм «Загадка Моцарта». И ничего такого не читал. Вообще фантастику не люблю. А сны вижу фантастические.

Итак, к Земле следовало нечто, какой-то объект. Внутри находились люди. Поступила команда разделиться. Большинство остается, а несколько человек, в том числе и я, переходят в какой-то чехол. Чехол такой маленький, что я едва успеваю втиснуть руку и ногу: шов сходится, материал нас плотно обтягивает, и мы падаем, летим. Мне жаль тех, кто остался. Почему? Наверное, им что-то грозит? Ну а мы приземляемся где-то на Кавказе. Выходит изумленный пастух. В руках у нас оказывается странная карта: узкая и длинная, три или четыре голубые линии, еще что-то, вот и вся карта. Но из нее мы узнаем, что воды здесь вдосталь, воздух чист, леса могучи. И тут перед нами разворачивают-

ся картины, мы видим живое изображение гигантских лесов, перевитых лианами, с мощными корнями, видим ящеров и морских чудовищ. Кто-то изумленно спрашивает, как здесь можно жить? Не беспокойтесь, отвечает наш командир, это все в прошлом. То есть мы увидели далекое прошлое этой Земли? А в настоящем? Появляются женщины, они окружают нас и принимаются танцевать под музыку. Кто-то изумленно бормочет, что музыка у них почти такая же...

Вспомнил этот сон и подумал, что какой-то фантастический сюжет, какое-то голливудское кино. Но вот что в нем было свежо и мощно: ощущение обширной и чистой планеты.

...Или все-таки фильм про Моцарта послужил причиной сна? Ведь и его музыка дарит то же чувство полноты и свежести и бесконечного удивления. Его музыка и есть самая искрометная смелая фантазия бодрствующего дневного духа, с которой не сравняться никаким снам и фильмам. Но и то и другое помогает это понять.

СОН В КОЛОКОЛЬНЕ

Приехал косить в деревню к тестю и теще. Встаю рано, выпиваю молока с черным хлебом, беру косу, бруск и сигареты, спички и отправляюсь за речку, к лесу.

А сам все думаю об оставленном в городе недописанном романе. В деревне бесполезно писать. Здесь нет какой-то извечной тоски, ущербности специфической, той, что чувствуется в городе. Нет тоски о естественной жизни. Она — вот. В городе дух стеснен — и вырывается на бумагу или еще каким-либо образом: в музыке, архитектуре. А в деревне — освобождается, ну, в известных пределах, с известными оговорками. И впадает в благостную лень. Или созерцательность.

И видит сон.

Две белые мягкие бабочки. Одна летает, другая на земле. И ту, что на земле, жалят осы, пикируют на нее и жалят, звонко жужжат, проворно шевелят усиками, впиваются жалами в бабочку, в ее крылья.

Став свидетелем этого, я опешил. Потом крикнул:

— Что происходит?

И услышал чей-то голос, возможно, летающей бабочки:

— Лик Богородицы!

И в тот же миг уязвляемая осами бабочка обратила ко мне свое лицо. Я не могу его описать сейчас. Оно было прекрасно. Нет, скажу, что у нее были темные глаза, темные волосы, белизна крыльев резко контрастировала с ними. Лицо было просто ослепительно.

И я тут же бросился топтать ос.

Но откуда-то брались новые и новые, звонко жужжали и уже жалили меня, в шею, в уши, в голову, в руки. Надо мной вился черный рой ос. И я не выдержал и побежал, размахивая руками, крутя головой, крича. Но рой не отставал. Меня охватил ужас.

И в этот миг словно бы некая сила подхватила меня и стремительно понесла уже по воздуху, так стремительно, что в ушах свистело, а звон ос остался где-то далеко... далеко... внизу... позади... Я оглянулся. Ос не было. И тогда я очнулся в веранде, просвещенной первыми лучами июльского солнца.

Но на самом деле весь день в меня было океанское солнце этого сна. Остановившись после возвращения с косьбы перед старым зеркалом в коричневой деревянной раме, я увидел сияющие глаза. Никогда еще ни один сон не давал такого сильного света и такого чувства хмельного и чудесного счастья.

Когда я рассказал деду, как его все зовут, Павлу Петровичу, об этом сне, он удивился и посоветовал никому больше о нем не говорить. Я ничего не возразил. Но уже знаю, что вряд ли последую совету и где-нибудь все-таки упомяну этот колокольниковский сон. Может, хотя бы смутное

представление об океанском солнце того дня бросит отсвет и на чье-то лицо еще.

И я думаю ненароком о снах многих людей, охотников, пасечников, косцов, пастухов, шоферов, лесников, солдат, моряков, священников, строителей, музыкантов, — никому не рассказанных, оставшихся втуне. Вокруг нас вселенная не проявленных снов. А колокольинский сон уж проявлен, рассказал Павлу Петровичу вечером в июле за речкой на лугу с новыми копенками.

ПАРИЖ-ЛОНДОН-АФРИКА

На велосипеде пытался проехать в Париж, но мост оказался на ремонте; другая дорога слишком крута и грязна. Кто-то указал верный путь. Выехал на площадь. Но это была Трафальгарская площадь с колонной Нельсона. Вдруг появились солдаты. Люди, бывшие на площади, побежали. Я не успевал убежать — прямо на меня солдат, вскидывает винтовку. Выстрел. Падаю.

...И чувствую, что жив. И здесь все приобретает особый колорит, это обычно бывает перед пробуждением, ты уже почти проснулся, но еще видишь — все очень живо, ярко, как если бы с изображения сдернули покровы.

Итак, я жив. И лежу и с ужасом смотрю на солдат и офицеров. Они ходят по полу и добивают раненых. Место действия приобрело уже какие-то другие очертания, здесь поле, не площадь, вдалеке контуры гор, раскидистые одиночные деревья, похоже на Африку. Военные в форме XIX века. Англо-бурская война?

Вот ко мне приближается офицер, склоняется, заглядывает в лицо. И тут я понимаю, что лежу в виде книги. Но я — живая книга.

«Смотрит!» — отрывисто бросает офицер, поднимая книгу. Успеваю различить на обложке какой-то круг, возможно, похожий на буддийские знаки.

«Ах, не дали дочитать!» — восклицает дама, оказавшаяся рядом с ним. Их было даже две или три, в длинных платьях, шляпках.

Книга выскользывает из рук неприятеля — и бац! — я оказываюсь в комнате с раскрытой дверью на лоджию, наполненной ветром и гулом рокотом. Приподнявшись, смотрю: за общежитием блещут молнии. Грядет гроза. Успеваю закрыть дверь, и грозовой вал накрывает наши дома.

СОЛНЕЧНЫЕ ГОРЫ

Тибетское жилище у подножия гор. Горы называются так: Солнечные, или Горы, На Которые Опирается Солнце.

— И вы туда ходите? — спросил я у хозяйки дома.

— Да, мы иногда туда поднимаемся, — ответила эта женщина средних лет, темноволосая, смуглая.

На горах лежал снег. Все было отчетливым, черно-белым, поразительно подлинным. Это особенность всех моих тибетских снов. И я думал утром в Смоленске, что именно сны вселяют какую-то надежду. Хотя ведь это все не более, чем игра. Но вот я уверен, что так и не побываю в Тибете. И мне трудно отделаться от впечатления, что я все же там бывал.

ГОРОД

Дальше я пробирался вверх.

Меня встречали какие-то люди, провожали. Поднимался в толщах чего-то необъяснимого. Всюду подстерегали некие опасности. Но ничего страшного не происходило. Продвигался к неясной цели. И почему-то думал, что это все было, это все мне известно.

Наконец, попал в последнее помещение, заполненное громоздкой конструкцией труб, цилиндров, — и внезапно эта конструкция пришла в движение, начала раздвигаться. Мне уже негде было стоять, я забился в самый угол, ужасаясь.

Но — не проснулся и не погиб, а внезапно оказался в городе.

Это был странный, просторный город с гигантскими площадями и внушительными домами. В нем было много храмов. Я не мог определить, какой из религий они принадлежат. Кровли и купола были из золота.

Через город протекала широкая река. Город находился на высоком месте. Я остановился перед зеленою рощей и погрузился в долгое разглядывание. Меня привлекали почему-то зеленые листы, ветки. Потом я вышел на склон и решил проверить, умею ли летать. Странно, все-таки, что в бодрствующем состоянии такая мысль в голову не приходит. А во сне — запросто. Но если сон — это отражение земного опыта дневной жизни, то откуда этот опыт самостоятельного воздухоплавания? Воздухоплавания без всяких приспособлений? Впрочем, жители этого города как раз приспособлениями и не гнались. Ну, а я просто разогнался — и полетел. Воздух подхватил меня и не давал мне провалиться.

И моим глазам предстала panorama города. Захватывающее величественное зрелище.

Ни дорог, ни машин, ни проводов, ни каких-либо иных примет обычной современной цивилизации. Меня радовало отсутствие проводов, обычно они мешают свободному воздухоплаванию. И днем, выходя из дома после полетов во сне, я поднимал голову, чтобы оценить возможности полетов во дворах, на перекрестках. Действительно, много проводов. Иногда нависают целые сети.

Я озирал колонны, кровли. Воздух был чистейшим.

Внезапно увидел и жителей города. Они шли группой. Один из них был довольно высок, выше обычных людей и своих спутников в два раза. Он заметил меня, продолжавшего висеть в воздухе. Рядом с ним шагали похожие на него, но не такие высокие, люди. Были они темноволосы, смуглы, бородаты, держались прямо, горделиво. Мне подумалось, что я могу о чем-либо их спросить, и я направился к ним в воздухе. Они уже все заметили меня, но не останавливались. Я завис неподалеку от высокого и сразу бухнул:

— Что меня ждет?

Они с улыбками глядели на меня. И тогда высокий с мягкой улыбкой ответил:

— Ждет.

Я попытался уточнить:

— Беды и радости?

— Да.

Меня этот ответ не устраивал, и я продолжил:

— Чего будет больше?

И тут на меня взглянули сочувственно и промолчали. А я лихорадочно соображал, о чем еще надо спросить. Да! О чем же спрашивать очумелому литератору? И я поинтересовался судьбой своего очередного романа. Они снова заулыбались, продолжая куда-то шагать, и ответили, что не знают ничего об этом.

Тогда я прервал расспросы — уязвленный сочинитель! — и полетел в сторону, увидел какую-то площадку и опустился на нее перед каким-то зданием. Вверх вела широкая каменная лестница. По ней я и пошел, раздумывая о том, что все здесь довольно странно: небо, воздух, эти люди в необычной одежде, да, на них были какие-то хитоны, непонятные храмы, — все это заставило меня усомниться в земной природе окружающего.

С лестницы я увидел других горожан, передвигающихся в воздухе на каких-то весьма небольших аппаратах, совершенно бесшумных.

Ох, не люблю всю эту фантастику! Как только появляются «аппараты-скафандры» и весь прочий антураж, тоской скучны сводят. А летать

над незнакомым городом с золотыми куполами и кровлями — не фантастика?

Нет. Это сон. Впрочем, на сны похожа и хорошая фантастика, например, любимая книга отечества «Ариэль», написанная, между прочим, нашим земляком, смолянином Беляевым, об этом всегда вспоминаю, проходя мимо старого дома бывшей семинарии, в которой преподавал его отец и он сам учился. Ариэль летал безо всяких приспособлений. И как я ему завидовал. Мы все ему завидовали. И пытались подражать. Как? Ходили в ров, что рядом с нашим двором, и забирались на самые макушки тонких деревьев и, ухватившись за ствол, повисали и падали, ствол обычно пружинил, и полет был мягким, точнее приземление, да еще и в сугроб. Честно надо признаться, что не обходилось и без приспособлений: старого черного драного и зашитого сурговой ниткой зонта. С ним мы прыгали с обрыва в снег. Но не с главного Обрыва. Главный Обрыв был высок, крут, внизу камни, палки и ручей с незатейливым именем Говнянка, по которому текли городские воды бань и улиц. На самом верху Обрыва росли два дерева. И к ним мы привязывали несколько веревок, шесть или семь, и играли в догонялки. Это была самая кайфовая игра моей жизни. Что-то похожее на обряд мексиканских индейцев, взбирающихся на высокий столб и потом прыгающих на веревках. Мы летали по Обрыву, отталкиваясь от него, гонялись друг за другом. Не обходилось без падений, синяков и ссадин.

На «Ариэле» кончается моя фантастика.

А сон — продолжается.

Так вот почему в городе нет дорог и машин, подумал я и еще раз взлетел и окинул взглядом город. В глаза мне был золотой свет крыши и куполов. Свечение было сильным... Внезапно меня повлекло вверх, вверх с огромной скоростью. Обычно так заканчиваются сны о чудесных местах. Но мне удалось справиться с этой влекущей силой, и я вернулся в город.

Я уже понял, что невероятным образом проник в чудесное место. И здесь могли открыться многие тайны. Главное, не поддаваться случайному вещам, каким-то сиюминутным влечениям. Попытаться быть цельным, сосредоточенным. Вряд ли когда-либо еще мне удастся попасть сюда. Хорошо бы, конечно, суметь задержаться здесь и побывать некоторое продолжительное время.

После чудовищного взлета я вернулся не туда, где был. Неподалеку находились две зеленые высокие горы. Эти горы привлекли мое внимание, и я полетел, стараясь не спешить, к ним, рассматривая уже издали мягкие складки, склоны в травах и кустах.

Внизу между гор шел человек. Я спустился ниже. Это был смуглый длинноволосый человек, напоминающий Дюрера, да, удивительно похожий. Он увидел меня и доброжелательно улыбнулся. Это тоже было странно. Обычная реакция на летающего человека — агрессия. Сперва удивление, а потом агрессия. Сколько раз мне приходилось спасаться от прохожих, каких-то клерков в присутственных местах, от толп, пытающихся догнать, схватить и наказать за воздухоплавание. По мне открывали огонь солдаты, полицейские использовали какие-то спецсредства.

Ободренный, я набрался смелости и спросил этого человека, как называется это место, этот город? Он ответил. Мне сейчас трудно воспроизвести этот ответ. Лишь набор букв: О, Д, Н, Р, Л.

И это не все буквы.

Тогда я прямо спросил:

— Далеко ли до Земли?

Он не понял вопроса.

Я решил спросить по-другому:

— Какая это планета?

Он с улыбкой вновь произнес то же название.

— Ну, а до Земли, планеты, далеко?

Он задумался и обратился к прохожему. Они начали обсуждать этот

вопрос у двух зеленых гор, по которым прогуливался ветер, и травы колыхались. По-моему, они не имели представления о такой планете. Тут уже я по-настоящему испугался. Так и не выяснив, далеко ли до Земли, я спросил, сколько живут здесь?

Ответ меня озадачил: «Двенадцать лет». Я тут же поинтересовался, сколько у них длится год, день? Они начали совещаться. И ответили как-то невнятно, я ничего не понял.

Поблагодарив их, поднялся на высоту двух зеленых гор и сверху оглядел окрестности. Похоже, что все пространство занимал этот город, в нем было совершенно не тесно. Мысль о том, что горожанам даже неведомо такое название «Земля», меня изумляла. Многих вещей как будто уже и не существовало. Например, Второй мировой войны. Или опасности ядерной катастрофы. Люди, бегающие где-то по неведомой Земле, хватали, возможно, в это время друг друга, подвергали пыткам и унижениям. Что значит «возможно»? Конечно, так и было, так и есть — прямо сейчас, сию секунду кто-то гибнет под пытками в кровавых руках. Таковы порядки на Земле. Хотя, еще неизвестно, что за обычай царят здесь. И я пытался уразуметь, в каком же направлении может быть Земля, и как я здесь оказался?

Но еще интереснее мне был сам город. И я решил вернуться на ту лестницу. Здесь я смогу повстречать больше горожан и получше обо всем расспросить. Очевидная странность — то, что я понимаю этих горожан, а они — меня, — почему-то не смущала нисколько.

И, действительно, как я и предполагал, на лестнице стали появляться горожане. Я сразу отметил девушку с перламутровыми губами и прозрачными глазами. Мне захотелось поцеловать ее. Но вдруг девушка приблизилась и сама поцеловала меня прямо в губы, улыбаясь и что-то говоря при этом. Лицо ее было дальневосточной красоты. Рядом со мной оказалась другая девушка, я и ее поцеловал. Тотчас мой рот наполнился чем-то неприятным, я принял отплевываться. Девушки смеялись. Я побежал вниз, свернул за угол — и оказался перед храмом с колоннами. В глубине храма я увидел неожиданно изображение Христа и его символы, но не кресты, а какие-то знаки в кружочках.

В храме шла служба. Ее вели мужи в длинных одеяниях, статные и высокие.

У колонны протекала вода, я склонился и принял лихорадочно выполоскивать рот.

«И здесь знают Христа», — в смятении думал я.

Я спешил, понимая, что нахожусь на самом пороге тайны. А девушки хотели подшутить надо мной. Но они были очень хороши, удержаться и не коснуться их лиц было слишком трудно.

И тут до моего слуха донесся голос: «Христос был необычным человеком...»

Я оторвался от воды и внезапно осознал, что все заканчивается. Это был поистине драматический момент. Мгновенно мне стало понятно, что колонны, изображение Христа, служителей, воду перед храмом, — все это я больше никогда не увижу. И тайны города останутся для меня неведомыми. И последним усилием я попытался как-то удержаться там среди колонн, даже застонал от боли — и устремился прочь и рухнул на смятую простыню в душной комнате.

Сразу вспомнил и увидел весь сон, прозрачный и удивительный, все лица, две зеленые горы, лестницу, храм, колонны. И уже никогда не смогу забыть.

ГОРА И ДЕРВИШ

В Москве много цветов.

После путешествия по музею им. Пушкина вышел на набережную и сидел там в тени лип, неподалеку от ХСС, мимо в шесть потоков мчались

машины, но сквозь чад доносились ароматы цветочных клумб по ту сторону потока стекла и металла.

Музей им. Пушкина похож на гору, внутри которой сокрыты сокровища. Попадаешь туда через двор со старыми мощными дивно курящимися хвойей и смолой лиственницами. Такие я видел только на Байкале. Пространство внутри довольно странно устроено. Невероятным образом там соседствуют мумии и иконы, древние осколки и полотна шизофренического двадцатого века. И всегда непонятно, как ты попадаешь со второго этажа на первый. Ну, в общем, по лестнице, но этого как-то не замечаешь. И я даже не знаю, может быть, там три этажа? Три уровня?

Три уровня? Что я имею в виду? Ну-ка, ну-ка, если подумать хорошенько.

Мумии и черепки, саркофаг женщины с испачканным внутри днешнем, вавилоно-ассирийские различные магические штучки. Светская живопись. И средневековый зал и залы западного искусства XIV — XVI вв. Вот в этой последовательности и надо путешествовать внутри горы. Надо признать, что образы, лики, взгляды третьего уровня глубже, насыщеннее, многомернее всего остального.

Итак, путешествие из подземья в небеса — всего за 25 рублей, льготникам — бесплатно. И возвращение на землю: пиво, сигареты, мороженое, газеты, журналы, билеты, солнцезащитные очки, игрушки, детективы. Метро, духота. Стук колес. При взгляде на человека в тюбетейке, смуглого, средних лет, черноглазого, очень спокойного не возникает опаски. Хотя он, наверное, правоверный мусульманин. Но, скорее всего, туркмен или узбек. А все настороженно смотрят на других гостей столицы — горбоносых и чернявых, горянок в черных платках. Никто не забыл февральскую бойню в метро.

А я снова останавливаю взгляд на человеке в тюбетейке и думаю, что когда-нибудь напишу фантастический рассказ о музее имени Пушкина, о царице Хатшепсут и дервише.

Ну, а пока лишь документальная основа.

Снился мне однажды музей имени Пушкина. Играли камерный оркестр, исполняли какую-то вещь Генделя, может, что-то из «Музыки на воде». Всюду прохаживались нарядные дамы и господа. А посредине зала на возвышении в саркофаге лежала чудовищно толстая женщина, царица.

Все как будто чего-то ждали.

И вот явился некий маг. Музыка стихла. Он взошел на постамент и начал совершать пассы над царицей. И та вздрогнула и приподнялась. Глаза ее были закрыты. Маг изо всех сил старался, но царица не смогла удержаться в сидячем положении и рухнула, выпустив смрадное облако. Снова заснул оркестр, что, видимо, тоже было средством оживления. Но ничего не вышло. К магу приблизились несколько человек. Посовещавшись, они приняли неожиданное решение: принести в жертву меня. Тут же ко мне направились служители. Я попятился, потом повернулся и пошел прочь. Собственно говоря, в чем дело?.. К чему такое внимание к моей скромной персоне, спасибо...

Они — за мной.

Я — бегом от них.

Некоторое время погоня продолжалась, я лавировал среди скульптур, бежал мимо картин, прятался за колоннами, пока на одном из поворотов не поскользнулся, и тут-то на меня навалились и, заломив руки, поволокли к царице... Хатшепсут, сразу же решил я, проснувшись.

Почему?

Только что вышел номер «Знамени», в котором были опубликованы среди прочего и поэма Зульфикарова «Дервиш и мумия царицы Хатшепсут», ну, и первая часть моего романа «Свирель вселенной». А о чем же и думать все время взволнованному автору? Хоть днем, хоть ночью, дума о нем, о романе.

Вот во сне это совпадение обрело своеобразный вид и звук. «Свириль вселенной» — камерный оркестр — Гендель, ну а «Дервиш» — восточный маг. Но почему этот маг указал на меня как на жертву, я уразуметь не мог.

Через два года мне снова приснился музей имени Пушкина и царица Хатшепсут, но прекрасно гибкая, черноволосая. Что это с ней произошло? Начал доискиваться и выяснил, что ошибался, полагая, будто в первом сне видел царицу Хатшепсут. Нет, скорее всего это была царица Пунта, страдавшая слоновой болезнью, — ее изображение сохранилось на стене храма — внимание! — царицы Хатшепсут. Да, несомненно, та царица из первого сна и была безобразно толстой. И вместе с мужем вышла навстречу торгово-военной экспедиции царицы Хатшепсут. Этот момент древний египетский живописец и запечатлел. Царица Пунта встречает корабли Хатшепсут.

Из справочников я узнал, что экспедицией руководил вельможа Панехси, и длилась она три года, начавшись на девятый год правления царицы Хатшепсут в Египте. Египтян встречали царь Пунта — бородатый Пареху и его жена Ати верхом на осле, так она была грузна, жир на ногах и руках показан волнами. Ученые предположили, что она страдала слоновой болезнью. Египтяне набрали слоновой кости, черное дерево, малахит, золото, обезьян, жирафов и благовония. И отправились назад. В Фивах их с почестями встречала сама Хатшепсут.

О стране Пунт ведутся споры: где именно она находилась? Но ясно, что в Африке, потому, что на рельефах изображены хижины на сваях среди болот, жирафы, пальмы.

Один из ученых, занявшийся исследованием, определил местонахождение Пунта на берегах Верхнего Нила, но это противоречило изображению морских обитателей на рельефах: лангустов и кальмаров. Другой ученый потратил сорок лет на поиски Пунта и установил, что страна эта могла находиться на территории современного Восточного Судана или Северной Эфиопии.

А вот интересно, что дальний кончик Африканского Рога называется сейчас Пунтленд.

Другой ученый нашел Пунт на западном побережье Аравии.

Еще один предложил компромиссное расположение: на обоих берегах Красного моря.

«Все, что нам известно, — заключает наблюдатель, — это то, что благодатные земли Пунт служили источником великолепных ароматов, драгоценностей и золота в Древнем Египте».

Хатшепсут была незаурядной женщиной и правила в пятнадцатом веке до нашей эры более двадцати лет, будучи вначале женой родного брата, много строила, восстанавливала после нашествия гиксосов и даже руководила одним военным походом — в Нубию.

Итак, я ошибался.

Прошли годы... Хе-хе. Да, в самом деле, еще пять лет, а всего, с первого сна — семь. У нас, здесь, в России.

Случилось так, что мои афганские рассказы попали в короткий список премии Ясная Поляна. И именно в этом году церемонию вручения премии перенесли из Ясной Поляны в... музей имени Пушкина. Меня туда пригласили, даже пообещали мобильный телефон «Самсунг», но я не поехал. Да нет, не из суеверного страха. А — таков мой настрой, не люблю многолюдных мероприятий. По-моему, там играл камерный ансамбль. Возможно, исполняли и Генделя. И премию вручили — кому же? Тимуру Зульфикарову. Хотелось бы, конечно, для пущей яркости, чтобы это была его поэма «Дервиш и мумия царицы Хатшепсут». Но думаю, достаточно и того, что он был ее автором. А премию все же получил за другую вещь.

Прошли еще годы, и появились новые данные о царице Хатшепсут.

Мумия царицы считалась пропавшей. Как вдруг обратили внимание на мумию в Египетском музее Каира, лежавшую на третьем этаже.

Раньше думали, что эта мумия принадлежит кормилице царицы. Была еще и мумия неизвестной царицы, на которую тоже думали, что она может принадлежать Хатшепсут. И тогда провели анализ ДНК бабушки Хатшепсут и самой царицы и установили неопровергимо, что кормилица и есть Хатшепсут.

Раньше высказывалось мнение о насильственной смерти царицы, мол, пасынок, Тутмос Третий мог отомстить ей за отстранение от престола. Но теперь уже установили, что скорее всего царица умерла от болезней, у нее был диабет, рак печени, опухоль кости. И была она тучной женщиной!

Так что же, моя экспедиция в Пунт, или, как ее еще называли — в «Страну Бога», изобилующую миррой, надобной египтянам для приготовления ладана, была ложным маршрутом?

Кто же, в конце концов, мне снился, царица Пунта Ати, супруга Пореху, или фараон Нового царства древнего Египта из восемнадцатой династии Хатшепсут?

Понятно, что, когда я приезжаю в Москву, то рано или поздно отправляюсь на Кропотkinsкую, выныриваю из-под земли, прохожу мимо ХСС, пересекаю дорогу по «зебре», миную двор с мощными древними седыми лиственницами, благоухающими в знойный день сибирской миррой, и осторожно вхожу в великую прохладную гору, полную всевозможных чудесных вещей.

В ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ И ДАЛЕЕ

Глава девятая, «История Мондаугена-В.» Пинчона, в ней описывается поместье немца в Юго-Западной Африке, — странным образом это описание совпадает с тем, что мне снилось как-то, года два назад.

У Пинчона свободное дыхание. Удивляет его возраст — 27 лет. Этого дыхания нет у его сверстников, живущих здесь, у Маканина, например. Здесь дышать мешали. Пожалуй, у Бродского такое же было. Да, а сейчас воздух пустили. Но вместо свободного дыхания — судорожные всхлипы.

Роман Пинчона «V.» слишком большой, соткан он из новелл, которые можно было бы множить и множить, как вот записи дневниковые. Новеллы нанизаны на идею V — поиски V то ли женщины, то ли демона, несущего разрушение, смерть. Многие герои — военные моряки, море слышно почти во всех главах. Как известно, на море он служил. Невольно вспоминается «Моби Дик». Та же метафизическая погоня. Но «Моби Дик» монолитен и ясен. Понять, что V. — энтропия, как пишут в аннотации, не так-то просто.

Впрочем, в свое время и «Моби Дик» вызывал недоумение. Это сейчас о романе Мелвилла можно сказать — ясен в сравнении с романом Пинчона. Хотя не все и у Мелвилла ясно на самом деле.

Назвать зло — энтропией, добавить иронии,ексса, — рецепт постмодернизма? А речь все о том же — об ищущем духе. Дух человека вопрошающий, мечущийся от Америки к Африке, оттуда — к Европе. А там уже и до наших осин рукой подать, верно, щегол?

Время от времени вспоминаю того приснившегося разговорчивого щегла. Иногда мне кажется, он рядом, на плече или, скорее, в клетке. Когда-нибудь разговоры с ним надо будет опубликовать. Впрочем, только в том сне он и отвечал, а так-то все помалкивает. Но мне кажется, что о романе Пинчона он отзвался бы одобрительно. Почему? Потому что это название напоминает ему птичку и, тем более, если в тексте оно заключено в кавычки.

И ночью после чтения мне снится: люди со свечками у нашего собора; прохожу мимо, вижу деревянный дом возле Соборной горы, немного подальше, где-то за Троицким женским монастырем. Дерево. На нем поют птицы. Синее небо, солнце. И тут появляется жирный ленивый лохма-

тый кот. Он пытается подпрыгнуть и схватить птицу, кажется, клеста. У него ничего не получается. И тогда кот вдруг выгибает спину и рычит на меня. Я предпочитаю ретироваться — раз: и оказываюсь в воздухе, на большой высоте. Внизу крошечные домики городков, селений, дороги, рощи, мне виден хвост самолета, слышу гудение его моторов. Соображаю, что нахожусь где-то в Европе. Появляется береговая линия, море, корабль. И сразу видение какой-то узорчатой живой блаженной ткани и ясное понимание, что главное — это творческие способности души.

Прописные истины во сне приобретают особую силу и убедительность.

КОНЕЦ СВЕТА

Хочу сфотографировать для книги, которую сейчас пишу, строчку Твардовского: «дымный дедовский большак!». Это Ельинский большак, древнейшая дорога Смоленской земли.

Положил в рюкзак чай в термосе, сало, хлеб, сумку с фотоаппаратом, штатив. Поехал.

Идея такая: Ельинская дорога уходит к часовне Меркурия. Осенью я это видел. Летом часовню скрывает листва. А сейчас в декабре большак и должен быть дымным, как у Твардовского в поэме «Теркин».

Вышел из поезда. Холодина. Больше никто не решился высаживаться на этом полустанке. Поезд простоял мимо, увозя дальше пассажиров с их разговорами о конце света, который и должен случиться на исходе этих декабряских дней, якобы по календарю майя или инков. Подкованные пассажиры толковали с научной точки зрения: о черной дыре, в которую затянет Землю, о мощном солнечном выбросе. Говорили, что какой-то мэр в Бразилии заготовливает для граждан продукты. Сто бразильцев готовились к самоубийству под руководством какого-то «учителя», его вовремя свинтили. Один китаец порезал ножиком двадцать школьников, пытаясь отправить их на тот свет загодя. А какие-то христиане-сектанты в том же Китае агитировали за конец света, раздавали листовки. В итоге их обвиняют в желании причинить ущерб Коммунистической партии. Да, ведь свет исходит от нее. А у нас уже от нового старого кормчего, перехватившего власть, как Шерхан, сбивший Акелду. Демократия в России как будто сразу была старой и дряхлой. Американцы скупают бункеры. У нас, наверное, водку скупают. Это наш бункер. С ящиком водки можно пережить любую атаку темных индейских сил. Можно долго жить вообще без света, находя очередную бутылку на ощупь.

Конец света, а у меня охота за светом в самом разгаре! Год назад захватила. Почти год прошел под знаком того Зверя Открывающего Свет из «Каталога гор и морей», Тигра с керосиновыми лампами в лапах. Я почти забыл негу поздних вставаний. В походах летом подъем в четыре — пять, осенью и весной немного позже, но — до солнца. И захочешь спать — не сможешь, тут же раздается солнечный рык. Если погода хорошая, то фотографирую утром и вечером в один день, вечером тоже наступает режимное время, как говорят фотографы. Я иду за Тигром с его светильниками в лапах по тропинкам города, поднимаюсь на башни, еду в лес, огибаю холмы, правлю байдарку против течения по Днепру. Можно подумать, это какой-то туризм, какое-то хобби. Нет, это жизнь. В погоне за светом я забываю себя. И мне снятся фотографии, которые я никогда не снимал, да и вряд ли сниму. Это какие-то невиданные чудесные снимки.

Меня ведет некий образ, какое-то представление о совершенной фотографии. Иногда хочется просто потерять фотоаппарат.

Но я думаю, что фотографирование дает мне что-то и как человеку пишущему. Хотя бы и этот сюжет — погоня за светом.

Пришвин говорил, что фотография сделала его художником, который не умеет рисовать. Свою книгу «В краю непуганых птиц» он иллюстриро-

вал фотографиями, которые делал громоздким аппаратом своего знакомого. И занемог этой солнечной болезнью, купил дорогое оборудование, хотя жил скромно. Его фотографии примечательны. Жаль, что не издан фотоальбом Пришвина. Ведь издают всякую хрень, парадно-помпезные шикарные альбомы.

Эх, все-таки фотограф зависит от издателей сильнее, чем просто пишущий литератор. Книга с фото — дорогое удовольствие. А роман или повесть можно вообще выпустить в литературном журнале.

Конечно, пишущая тростинка посильнее камеры обскуры. На кончике тростинки скрыта самая чуткая из камер, супермикрокамера, с помощью которой можно даже проникать и в сновидения и добывать там моментальные снимки.

Но что я могу сказать о фотографии?

Если мир — книга, то человек с фотоаппаратом самый лучший ее читатель. Уж он-то знает многие свойства ее страниц досконально. Ведь эти страницы исписаны светом.

Фотографирование, думал я, шагая по неглубокому снегу на дороге, погружает тебя в перманентную медитацию. Во время медитации слова и мысли должны исчезать из сознания. То же и в фотографии. С помощью фотоаппарата ты подключаешься к мощной древней жиле, по которой идет ток дословесных образов. Видеть человек может раньше, чем говорить. А Банкей, кстати, и учил своих слушателей в затворах, что, увидев галку, мы все понимаем без слов. Наверное, эта штука — камера света — ему понравилась бы. И он смог бы продемонстрировать на примере фотографирования свою идею Нерожденного. Ведь часто так и бывает: суть увиденного мгновенно схватываешь, еще не отдавая себе отчета, — твое существо реагирует до появления отчетливых мыслей, — раз! И затвор сработал. И часто только много позже видишь, что же именно ты сфотографировал, — дома. И порой даже не в первый раз после того, как вывел снимок на экран, а через пару дней. Поистине: как до жира доходит. Но Нерожденный разум, как это называл Банкей, питаемый источником всех будд, сразу это схватил.

Фото интересно еще тем, что может дать наглядное представление о превращении случайных черт в образ.

«Фотохудожник, как полагал Вилем Флоссер, — это тот, кто способен оказать сопротивление заложенной в аппарат программе и навязать машине свои цели», — читал в «Неве» в дельной статье С. Лишаева перед поездкой.

Вот и шагаю по Ельникову большаку с фотоаппаратом и штативом, чтобы предпринять очередную попытку — победить машину. Иногда хочется, чтобы эта машина была буквально живой. Не в этом ли идеал фотографии?

Сьюзен Зонтаг о том же: «Обладание камерой порождает нечто вроде вожделения».

Глядел-глядел и, наконец, разглядел часовенку на месте сражения Меркурия и смолян с монголо-татарами, в котором смоляне одолели, да Меркурий, «римский воин», потерял голову и стал святым. Далековато, и света еще нет, солнце не взошло.

Направился дальше — в сторону Загорья, на юг, но, конечно, туда я не пойду, далеко, хотя и думаю, что снять заснеженный хутор Твардовских было бы хорошо. И вообще пожить там год и снять времена года, крестьян. Сделать альбом «Времена года в Загорье», ну, что-то вроде этого. Хм, и кто его издаст? У меня нет издателя.

С большака я свернул и пошел на восток. Решил сфотографировать зимние курганы, это мне точно понадобится. Ну, то есть моим неведомым славистам через пятьдесят восемь лет. Рано или поздно, а какие-то зарубежные краеведы-землеведы заинтересуются этой местностью.

Если конец света не погасит все светильники разума в лапах Тигра. «Тигр, о, Тигр, светло глядящий!» — так восклицал Блейк. Его стихи мне

не очень понятны, но вызывают любопытство. Как и картинки. Я чувствую с Блейком родство. Он, кстати, тоже любил записывать свои сны, называя их «достопамятными видениями». У него Тигр — прекрасное творение природы, но и зло мира, исчадие ада.

В чем правы ожидающие конца света — так это в том, что мир исполнен жестокости. Открой газету и сразу это поймешь. Покуда на земле идет хотя бы одна война, какой-нибудь самый незначительный локальный конфликт, — рано говорить о том, что мы перестали быть людоедами. Людоеды!

Проселок привел меня на склон, с которого видно озеро. Сейчас его, правда, нет. Весной силища половодная прорвала и разметала плотину и унесла живые рубли тех, кто здесь обосновался и развел карпов и прочую рыбу для платной рыбалки. На берегу стоит их дом. Из трубы идет дымок.

Спустился к ручью Чичиге. На лед побоялся ступить, как бы не проломился, а захотел перепрыгнуть — и нога скользнула по крутыму ледяному и снежному берегу, пробила лед у самого берега и ушла в воду, а меня кинуло со всего размаху на лед. Сейчас треснет! — сквозь дикую боль мелькнула мысль. Но лед держал. Я лежал на спине, на рюкзаке. И тут увидел свою правую какую-то чужую, странно вывернутую руку. Попытался ею пошевелить — свирепая боль зигзагом пронзила все тело. Совладать с рукой я не мог. Выбил из ключицы, падая и неловко выставив назад. Малейшее движение причиняло острую боль. Нога была в капкане льда, горела и саднила. Наверное, сломана. Вот так! Только что рассуждал о фотографии, вспоминал Пришвина... У него всегда был пес, сеттер. Сейчас бы он мог сослужить службу, выбежать к людям. В капкане на Чичиге: ни сесть, ни встать. Опереться на руку не могу. Попытаться ее вправить? Сжал зубы. Не получилось. Только боль. И все то же самое.

Над древними морицинистыми ивами и вязами Чичиги раннее небо. Солнце в конце декабря восходит поздно, да еще с правительственный двухчасовой задержкой. Что делать? Лежу на спине. Чувствую, как зимний рыбакский сапог с войлоком внутри наполняется ледяной водой. То ли я его пробил, то ли просто затекает через край.

Но что-то надо делать. Если сразу вывих не вправить, то потом все распухнет. Хотя и самому это делать опасно, можно порвать ткани, сосуды. И все-таки, набравшись отчаяния, я еще раз попробовал. Щелчок! И рука стала моей!

Принялся сразу высвобождать изо льда ногу. Прочно засела между льдом и крутым берегом. Но вроде не сломана? Наконец, вытащил из хватки ручья ногу, ощупал: цела. Поднялся и, уцепившись за ствол, выбрался на берег. Хо-хо! Сразу не стал выкручивать носок, выливать воду. Пошел, прихрамывая, дальше — уже не к курганам, а по склону холма. Надо ведь было застать самый лучший утренний свет! Но восход солнца быстро ослеп, словно бельмом затянуло зрак космоса. Уже начинается? Все-таки несколько кадров сделал и пошел вверх по холму, этот холм называется по деревне, когда-то стоявшей здесь, — Глинники. Наверху нашел в старых яблонях и вишнях поваленное дерево, разгреб снег. На этом мой поход окончен, понял я. Рука ноет, ногу простреливает. И вообще явно не по себе. Долго не мог развести костер. Надрали бересты, и огонь запыхал, дохнул баней и летним вечером в Колокольне. Огонь полыхал, обдавая меня жаром на морозном ветру. Здорово я замерз, пока разжигал костер. Тянул к пламени руки. Положил подмерзший хлеб на горящие ветки. Потом усился и ел горячий хлеб с салом, пил разопревший чай из термоса. Ветер вышибал слезу, стягивал бороду.

Мне иногда и представлялась какая-то такая ситуация. Рано или поздно любителя одиноких походов ждет что-то вроде наказания «за индивидуализм», об этом еще Астафьев написал рассказ «Сон о белых горах». Мой рассказ я бы назвал «Чичига». Даль дает толкование этому слову: долгий, кривой валек, которым бьют лен, чичиговатый — упрямый, беспокойный, причудливый, привередливый, на кого не угодишь.

А словарь пословиц говорит, что давать — драть — чичигу значит избивать кого-то, таскать за уши в качестве наказания. Так и есть! Вот тебе и провиденциальные наименования в духе Флоренского, его учения об именах. Надо обходить стороной этот ручей. Да как? Через него лежит путь в местность.

Сидел у костра три с половиной часа, сушил войлочный чулок из рыбакского сапога. Вспоминал ненароком бригаду железнодорожников, сидевшую неподалеку в поезде. Они-то и толковали о конце света. И молодой крепкий кареглазый мужик в таких же рыбакских теплых сапогах, я на это еще обратил внимание, — заметил, что мы сами себе конец света давно устроили.

Да и не только мы, добавил он и заговорил о Ланце, аутисте, расстрелявшем в американской школе двадцать детей и несколько взрослых совсем недавно, два или три дня назад.

И зовут его Адам, приходит мне на ум. Говорят, он был готов. Снова и снова подтверждается мудрость вековечная: кто на что молится, тому и уподобляется. Нет, американцы молятся не на черные образы готов, а на оружие. Как и мы. Как и все на этой планете.

Давай, щегол, улетим. Пора, брат, пора...

Допивая на дорогу остатки чая, думал: а что, если бы сломал ногу, и лед не выдержал бы. Вот это и было бы личным светопреставлением. Или даже продолжал бы держать. Но руку я не вправил бы. И сколько так лежал бы?

Приблизившись на обратном пути снова к Чичиге, заметил рядом со своими с утра одинокими следами чьи-то еще. Человек шел по моему следу. Свернулся к Чичиге. И вернулся обратно, — скорее всего, в озерный дом. Ну, да, падая, я крикнул. Видно, крик услыхали рыболовы...

К часовне я все-таки вышел под вечер. Ее освещало вечернее солнце.

Сфотографировал большак и часовню. Но уже понимаю, что не совсем то. Или даже совсем не то. Большак не дымился, как летописная строчка Твардовского. Нет уже той энергии. Или скорее умения эту энергию чувствовать и извлекать. Машина снова побеждала меня.

А я на остановке «349 км» дожидался другую машину, которая вскоре и появилась в декабрьском морозном сумраке и повезла меня в город к рукописям и снам.

Эх, морока гоньбы за светом, печально размышлял я, осторожно держа на рюкзаке ноющую, горящую в ключице, да и в локте и в кисти руку. Правую руку. Одной левой печатать, конечно, не буду. Придется пережидать. Читать книги, от которых меня увел фотоаппарат. Но и фотографиями можно будет заниматься? «А как же! Как же!» — клацал зубами мой демон. И глаза его блестали так, что я уже — за неделю до завершения года — был уверен: конец света отменяется.

ИНДЕЕЦ

Он появился на лодке, с веслом, черноволосый. Река уходила в грот. Индеец бросил взгляд на меня и направил свою лодку туда. Я последовал за ним. Так началось мое путешествие по странному подземному лабиринту.

По сторонам возникали различные трудно определяемые образования. Иногда показывались какие-то четкие структуры, нечто похожее на детали какого-то механизма. Я уставал и хотел прервать путь, но сразу впереди из тени выступал силуэт индейца на лодке. И я следовал за ним. Порой я погружался в воду и плыл под водой с рыбами, они задевали меня хвостами, скользили по ногам, двигались впереди и сбоку, снизу.

В одном месте этого сумеречного лабиринта я внезапно увидел ребенка, он обернулся и оказался знакомым мне... Ребенок куда-то пропал, шагнул в тень. Свет там всюду был неверный, колеблющийся, льющийся откуда-то сверху, наверное, сквозь щели в скалах.

Я двигался дальше. Мне хотелось знать, чем это кончится. Изредка в лабиринте возникало какое-нибудь химерическое существо, таращило глаза, разевало пасть — и пропадало. Мне не было страшно.

И вскоре на одном из поворотов я встретил взрослого человека с моим лицом.

После этого я вышел на берег подземной реки и прилег, чувствуя, что надо передохнуть. И заснул во сне.

Мне приснилось помещение с высоким потолком. Я подпрыгнул и ощупал потолок. Он был тверд. Я еще раз подпрыгнул. «Что ты делаешь?» — спросила Нина. Я огляделся. Неужели отсюда нельзя выбраться. «Что ты ищешь?» — снова спросила она. И, наконец, я увидел между стеной и потолком два или три достаточно широких проема. Еще раз подпрыгнул и вылетел наружу. Тут же передо мной пронеслись видения океана, гор. Рядом оказалась Нина, она схватилась за меня. А вокруг моей талии обвилась наша кошка.

Я взглянул вверх и заплакал: в скальной расселине голубело чистейшее небо, но оно было недостижимо. И мы опустились на землю. И я проснулся, но все еще во сне. И сразу увидел индейца в лабиринте. Но выглядел он уже иначе: грибообразный силуэт, совершенно безволосый, с неразличимым лицом.

И он взмахнул рукой с длинными — непомерно длинными — пальцами — на прощание.